



И.И. Панаев

*Сочинения*



# Иван Иванович Панаев

## Родственники

*Текст предоставлен правообладателем*  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=660015](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=660015)

### Аннотация

«В селе Благовещенском числилось 232 души мужеска пола. Село Благовещенское принадлежало шестерым владельцам, из которых три имели в нем постоянное местопребывание: холостой и отставной армейский поручик Брыкалов, лет сорока; неслуживший дворянин Ардальон Игнатъич Стойковский, пятидесяти девяти лет, отец многочисленного семейства и слуга супруги своей Агафьи Васильевны, барыни толстой, с бельмом на правом глазу, – и, наконец, сестрица Ардальона Игнатъича – Олимпиада Игнатъевна, вдова лет пятидесяти шести, не без основания пользовавшаяся уважением всего околотка за свои нравственные и религиозные правила...»

# Содержание

Глава I	4
Глава II	18
Глава III	27
Глава IV	39
Глава V	54
Глава VI	64
Глава VII	73
Глава VIII	80
Глава IX	91
Глава X	102
Глава XI	113
Глава XII	123

# Иван Иванович Панаев

## Родственники

### Глава I

В селе Благовещенском числилось 232 души мужеска пола. Село Благовещенское принадлежало шестерым владельцам, из которых три имели в нем постоянное местопребывание: холостой и отставной армейский поручик Брыкалов, лет сорока; неслуживший дворянин Ардальон Игнатъич Стойковский, пятидесяти девяти лет, отец многочисленного семейства и слуга супруги своей Агафьи Васильевны, барыни толстой, с бельмом на правом глазу, – и, наконец, сестрица Ардальона Игнатъича – Олимпиада Игнатъевна, вдова лет пятидесяти шести, не без основания пользовавшаяся уважением всего околотка за свои нравственные и религиозные правила. У Олимпиады Игнатъевны были сын и дочь – Петруша и Наташа. Петруше было лет девятнадцать, Наташе двадцать два года.

Из 232 душ села Благовещенского, Брюхатово тож, 62 души принадлежали Олимпиаде Игнатъевне, 85 душ ее брату, 45 поручику Брыкалову, а остальные за тем другим владельцам, о которых упоминать здесь не для чего. Три барские дома красовались в разных концах села Благовещен-

ского. Впрочем, красовался, собственно, только один барский дом, принадлежавший Ардальону Игнатъичу, потому что этот дом был обит тесом, выкрашен краской и находился на самом завидном месте, то есть на небольшой площадке против церкви. Дом Олимпиады Игнатъевны был не то чтобы совсем дом, а так, что-то среднее между домом и избой: старый, не обшитый тесом, он стоял, одинокий и мрачный, покачнувшись набок, на самом конце деревни. Ни одного дерева, ни одного кустика не было кругом его – только сзади двор, обнесенный плетнем, голый двор, выжженный солнцем и скользкий во время летней засухи, как паркет, а на дворе три или четыре людские избушки, также дряхлые. Поручик Брыкалов жил просто в большой крестьянской избе, крытой соломой.

Грех сказать, чтобы владельцы села Благовещенского жили в любви и мире. Нога Ардальона Игнатъича три года не переступала порога его сестрицы Олимпиады Игнатъевны... И хотя он, по своему кроткому и богобоязливому характеру, каждый год на страстной неделе покушался примириться с нею и каждый год начинал к ней письмо следующими строками:

«Милостивая Государыня любезнейшая сестрица.

Приступая ныне к великому Делу с подобающими истинному Христианину чувствами нелицемерного смирения и покаяния в своих проступках и вместе с тем, так как Родственные наши отношения поколеблены... то...»

Но на этом то Агафья Васильевна всякий раз ловила его, выхватывала у него начатое письмо и рвала в мелкие кусочки.

Родственное согласие Ардальона Игнатъича и Олимпиады Игнатъевны, возмущавшееся довольно часто Агафьей Васильевной, окончательно было прервано на любовном размежевании за какой-то клочок неудобной земли. Этот клочок Агафья Васильевна ни за что не хотела уступить Олимпиаде Игнатъевне, Олимпиада же Игнатъевна, в свою очередь, ни за какие блага не хотела уступить Агафье Васильевне. Таким, образом, несмотря на невероятные усилия посредника, любовное размежевание земли села Благовещенского до сих пор не состоялось. Долг справедливости заставляет, впрочем, заметить, что не одни Агафья Васильевна и Олимпиада Игнатъевна были препятствием к любовному размежеванию. Поручик Брыкалов почему-то твердо вознамерился присвоить себе  $4/2$  десятины земли под строевым лесом, бесспорно принадлежавшие Ардальону Игнатъичу, и, несмотря ни на какие доводы, объявил торжественно, что он слышать ничего не хочет, что хоть до ножей дело дойдет, а он не уступит эти  $4/2$  десятины. Рассказывали также (за достоверность этого я не могу, однако, поручиться), что поручик неоднократно подсылал крестьян своих по ночам рубить лес Ардальона Игнатъича и что Агафья Васильевна, увидев однажды из окна Пантелея, старосту поручика, изволила убежать сама на двор в одной кофточке (некоторые злые языки

уверяют, что даже и без кофточки) и с грозивши телодвижениями закричала вслед ему:

– Скажи, мошенник, своему барину, чтобы он мне, грабитель, не показывался на глаза, а не то я ему все его тараканьи усы выщиплю! Слышишь?..

Говорили, что Пантелей передал это поручику от слова до слова и что поручик, выслушав Пантелея, очень хладнокровно заметил:

– А вот погоди она у меня, я ее, каналью, затравлю собаками.

Говорили также... но нет возможности передать всех рассказов друг о друге владельцев села Брюхатова. Этим рассказам не было бы конца. И благодаря только им обнаруживались кое-какие признаки жизни и движения в селе Брюхатове... Так поверхность стоячего болота, подернутого зеленоватою плесенью, возмущается только тогда, когда мальчишки, забавляясь, бросают в него камешки.

Село Брюхатово не могло похвалиться живописными видами. Оно было расположено на ровном и низменном месте, у речки Векши. Эта речка несколько оживляла грустные и однообразные его окрестности. Блестящая, как лезвие меча, искусно выполированное, она быстро и весело сверкала и извивалась кольцами, как змея, среди тучных, но плохо возделанных пажитей, нисколько не гордясь тем, что сливала воды свои с водами одной из величайших и красивейших рек в мире. Вправо от селения, у самого горизонта, показывался

мелкий лесок на возвышении. На расстоянии семи верст в окрестностях не было ни одной горки, а только небольшие покатоности и едва заметные холмы. Удобнее этой земли в хозяйственном отношении невозможно было желать.

И если бы село Брюхатово было в одних и, как говорится, хороших руках, оно, вероятно, приносило бы значительные выгоды, но раздробленное на мелкие участки, при чересполосном владении, при беспрестанных расправах совладельцев, при ежедневных ссорах и драках разнопомещичьих крестьян, подобно господам враждебно смотревших друг на друга; при самой отчаянной бестолковости в управлении – оно находилось в жалком состоянии. Полуразвалившиеся избы, на которые безобразно навалены были кучи соломы, сгнившей и почерневшей от времени, растасканные и разрушенные плетни, нечистота на улицах, грязные и оборванные ребятишки, полунагие бабы вместе с поросятами и свиньями – все это вместе производило грустное и тяжелое впечатление.

Всегда печальное, еще печальнее обыкновенного казалось село Брюхатово в тот весенний вечер, походивший, впрочем, более на осенний, с которого начинается наше повествование.

Серенькое небо, мелкий и частый дождь, однообразный скрип обломанных крыльев ветряной мельницы, вой дворной собаки, все страшно действовало на нервы и наводило тоску нестерпимую.



Наташа – дочь Олимпиады Игнатьевны, сидела у окна и смотрела на мальчишку – пастуха, который, по колени в грязи, измокший до костей, дрожа от холода и голода, с длинной хворостиной в руке гнал стадо овец и баранов мимо барского дома.

Наташа была недурна собой, высока и стройна. На ней было ситцевое платьице с вырезкой на груди, со шнурками и кистями, и сверху немного засалившаяся черная кацавейка, обшитая кошачьим мехом... Она все продолжала смотреть в окно, хотя мальчик, гнавший стадо, давно прошел и хотя смотреть уж решительно было не на что. Потом она немного задумалась, облокотилась головой на руку и... зевнула.

Вслед за тем в углу той же самой комнаты послышался долгий и глубокий вздох.

В этом углу на диване у печки сидела маменька Наташи, в белом чепце и в темно – пюсовом капоте.

– Что это, матушка, ты уселась тут у окна? – произнесла маменька печальным и болезненным тоном. Иначе она не говорила.

– Что-с?.. – спросила рассеянно Наташа.

– Ах, боже мой, что ты, оглохла, что ли?.. я спрашиваю тебя, зачем ты уселась у окна?

– Да отчего же мне не сидеть тут?

– Хоть бы занялась чем-нибудь.

– Да чем же мне заняться, маменька?

– Чем? – проговорила Олимпиада Игнатьевна, – ну, коли

нет никакой работы, хоть бы чулок вязала. Все занятие.

Затем последовало молчание.

Дождь продолжал стучать в стекла. Наташа еще раз зевнула.

Олимпиада Игнатъевна, глядя на нее, также зевнула и прошептала со вздохом:

– Ах, боже мой!.. Ах, господи, боже мой! – и перекрестила свой рот.

Через минуту она снова обратилась к Наташе:

– Да что это ты зеваешь беспрестанно, Наташа?

– Скучно, маменька.

Олимпиада Игнатъевна печально покачала головой.

– В твои лета мы не умели и не смели скучать, – проворчала она. – Так ты скучаешь с матерью?

На глазах Олимпиады Игнатъевны показались слезы. Она, подобно многим барыням, владела искусством вызывать слезы при всяком удобном случае.

Наташа хотя и привыкла к такого рода слезам, но, несмотря на это, считала обязанностью в таких случаях бросаться к маменьке, утешать ее и целовать ей ручки.

– Маменька, душенька! что это вы! полноте! Как вам не стыдно!.. Мне так просто скучно, я сама не знаю отчего, а с вами, маменька-с, как это можно! с вами мне никогда не скучно.

На слова Наташи Олимпиада Игнатъевна улыбнулась с приятностью, хотя вполне была убеждена, что Наташа лжет

и что она скучает с нею.

– А который час, Наташа?

Наташа побежала в соседнюю комнату, в которой тяжело шипели стенные часы.

– Половина седьмого, маменька-с, – закричала она.

– Ну, коли половина седьмого, так вели Марфутке собираться к чаю да позови эту негодницу Феньку... Где она там это бегают, скверная девчонка?

Олимпиада Игнатъевна вздохнула. Она каждое слово сопровождала или вздохом, или легким стоном.

Явилась Марфутка, распространяя в комнате запах коровьего масла, которым она мазала волосы. Марфутка собрала все, что следует, к чаю. За Марфуткой явился Ларька, низенький и пожилой мальчишка, в грязных сапогах, в которые были заправлены синие кумачные панталоны, – и поставил на стоп нечищенный самовар. Вслед за Ларькою показалась двенадцатилетняя девчонка Фенька, обстриженная под гребенку, в тиковом платье с талией под мышками и в башмаках на босую ногу. Фенька неотлучно находилась при барыне для посылок и, стоя у дверей, вязала обыкновенно толстый и засаленный чулок, а иногда дремала, прислонясь к стене, но и во сне все-таки шевелила спицами. Олимпиада Игнатъевна побранила Феньку, объявила ей, что если она вздумает еще раз убежать, то она ее, как собачонку, привяжет на веревку к двери, и в заключение прибавила, что уж здоровья ей нестает управлять со воем этим народом. Затем все пришло в

обыкновенный порядок: самовар закипел, Фенька прислонилась к стене и зашевелила спицами; Наташа принялась разливать чай. К чаю явился Петруша.

Петруша в семнадцать лет корчил человека, все понявшего и разгадавшего. Никакие вопросы не останавливали его: он разрешал их легко и смело. Он говорил без умолку и с жаром обо всем: о Байроне, о Сен-Симоне, о Фурье, о гегелевском примирении и о том, что некоторое время он находился в моменте распада и сделался вполне человеком только тогда, когда вышел из этого момента. Петруша не читал ни Сен – Симона, ни Фурье, ни Гегеля; о Байроне он имел слабое понятие по кое-каким русским и французским переводам. Всю свою мудрость Петруша почерпал из русских журналов. Людей четырьмя или пятью годами старше себя он без церемонии причислял уже к старому поколению и говорил: «Нет, они не в состоянии понять нас, они не могут сочувствовать нашим интересам. Они отстали!» Года три он готовился в Москве к университету, но, не выдержав вступительного экзамена, возвратился восвояси и зажил преспокойно в селе Брюхатове, почитывая журналы, пописывая стишки в гейневском роде (этот род был тогда в моде), покуривая трубку и посматривая на всех окружавших его (не исключая и маменьки) с иронической улыбкою.

Когда Петруша вошел в комнату, задумчивый и бледный, Олимпиада Игнатьевна обратилась к нему с нежностью.

– Ах, Петенька, – сказала она, вздыхая, – ты все занима-

ешься! побойся бога, ведь у тебя грудь слаба, дружочек.

Петруша, ничего не отвечая, закурил трубку и развалился в креслах.

– Да что ты такой скучный? – спросила она его с беспокойством.

– Ах, да ничего, отстаньте, пожалуйста. Олимпиада Игнатъевна беспокойно посмотрела на него.

Напустив дыму полную комнату, Петруша встал с кресел и начал прохаживаться по комнате, мрачно завывая себе под нос:

Есть упоение в бою,  
И бездны мрачной на краю,  
И в разъяренном океане,  
Средь грозных волн и бурной тьмы,  
И в аравийском урагане,  
И в дуновении чумы!..

– Ваш чай, братец, совсем остынет, – сказала Наташа.

Петруша, ничего не отвечая, подошел к столу, отпил немного из своего стакана, пустил изо рта еще тучу дыма и потом снова стал прохаживаться по комнате, продолжая завывать стихи. Фенька, шевеля спицами, смотрела на него, вытараща глаза. Наташа начала рассказывать маменьке только что перед этим выслушанную ею от Федоры – ключницы новость – о том, как дяденька Ардальон Игнатъич, по приказанию тетеньки Агафьи Васильевны, очень строго наказал

своего кучера Петрушку и непременно решил отдать его не в зачет в рекруты; о том, как тетенька очень сердилась на дяденьку за то, что он избаловал всех людей, как дяденька оправдывался перед тетенькою, и прочее. Олимпиада Игнатъевна не без удовольствия и с большим вниманием слушала рассказы Наташи, от поры до времени только тяжело вздыхая и пожимая плечами... Наташа, несмотря на все ее достоинства, имела небольшое поползновение к пересудам и сплетням, общее всем деревенским барышням.

Она отличалась от своих подруг тем, что была большая охотница читать. Она прочла почти все французские романы в переводах.

Чтение, хотя довольно бестолковое, способствовало все-таки развитию ее понятий. Но многое в книгах перетолковывала она странно, по-своему; многого совсем не понимала, а объяснить было некому. Наташа все таила в самой себе и никому не доверяла своих мыслей и ощущений.

Петруша считал ее пустой девочкой; он говорил, что у нее «одна из тех будничных натур, на которые природа не скупится», и только так иногда, из милости, читал ей свои стихи.

С маменькой Наташа не была откровенна.

Олимпиада Игнатъевна, несмотря на доброту свою и привязанность к дочери, всегда смотрела на нее с высоты своего родительского величия. Сыну она позволяла иметь какой ему угодно образ мыслей, ни в чем не стесняла его свободы

и даже подчиняла себя его желаниям; но с дочерью поступала деспотически. Дочь, по ее понятиям, не могла, не должна и не смела иметь своей воли, своего образа мыслей. Наташа рассуждала с маменькою только о домашнем хозяйстве да развлекала ее рассказами и сплетнями о дяденьках, тетеньках, о сестрицах и братцах, о соседях и соседках...

Когда Наташа передала Олимпиаде Игнатъевне все новости о дяденьке и тетеньке, Олимпиада Игнатъевна, не пропустившая ни одного слова из ее рассказа, тяжело простонала:

– Бедный братец! бедный братец! погубили тебя, искоренили в тебе все родственные чувства, голубчик!..

– Уж есть о ком жалеть! – перебил Петруша.

– А как же не жалеть, дружок? Если б он был нам чужой – дело другое, а то ведь он самый близкий наш родственник, ведь он родной брат мне, Петруша; родной дядя тебе...

Петруша, все продолжавший ходить по комнате, при этом возражении маменьки вдруг остановился и ударил кулаком по столу.

– Дядя! дядя!.. – повторял он. – Да что ж такое дядя?.. Я этого решительно не понимаю... Ваши родственные предрассудки меня возмущают...

И Петруша принялся доказывать маменьке, что одно кровное родство ничего не значит, что есть родство другое, высшее, духовное – единственное, которое может допустить человек мыслящий и развитой, что он ни с дядюшкой своим и почти ни с кем из родных ничего не имеет общего, что они

находятся в состоянии диком и более походят на зверей, чем на людей.

Олимпиада Игнатъевна слушала сына, сомнительно покачивая головою.

Когда Петруша кончил, она возразила:

– Это может быть так по-вашему, по-нынешнему, а по-нашему не так.

Петруша рассердился. Он непременно хотел поставить маменьку на ту высшую точку, с которой сам смотрел на этот предмет, и продолжал беспощадно уничтожать маменькины предрассудки и доказывать нелогичность ее образа мыслей. Олимпиада Игнатъевна слушала его, не понимая ни слова, и между тем следила за Фенькою, которая начинала, по своему обыкновению, дремать, прислонясь к двери, и грозила ей пальцем.

А Петруша все ораторствовал. Наконец Олимпиада Игнатъевна решила прервать его.

– Друг мой Петенька, – сказала она, – ты бы лучше прочел мне свои последние стишки. Ты знаешь, мой ангел, как я люблю все твои сочинения.

На лице Петруши при этих словах выразилась горькая, ядовитая улыбка. И когда маменька повторила в другой раз о стишках, он нехотя продекламировал:

Она сидела с думой тайной,  
А ветер листья шевелил.



И лик ее так мрачен был,  
И взор ее упал случайно  
На желтый, высохший листок;  
Вдали, посеребрен луною,  
Сквозь темный лес сверкал поток...  
Она кивала головою.  
И вздох ее был так глубок!

От стихов маменька была в восторге и расцеловала за них Петрушу, прибавив однако ж:

– Зачем только ты пишешь, голубчик, все такое печальное?

Потом Олимпиада Игнатьевна выдрала Феньку за уши и послала ее за Ларькой и Марфуткой. Когда Ларька и Марфутка убрали чашки, в комнате снова водворилась тишина. Петруша молчал и курил трубку. Наташа машинально перебирала листы старого календаря, лежавшего перед ней на столе. Олимпиада Игнатьевна, закутавшись в платок, охала и кряхтела у печки... Только дождь все стучал в окна.

Вдруг раздался отдаленный звон колокольчика, и все встрепенулись невольно при этом звоне. Петруша приподнялся с кресел, Олимпиада Игнатьевна и Наташа вздрогнули, все в один голос вскрикнув: «Кто бы это?», и в недоумении посмотрели друг на друга.

## Глава II

Колокольчик между тем приближался, заливаясь звучней и звучней... Наташа вскочила с дивана, бросилась к окну, и сердце ее забилось шибко. Отчего? Не ждала ли она кого-нибудь? Нет! кого бы ей ждать: соседи и соседки их были противные, по ее собственному выражению, родственники скучные, а, кроме соседей, соседок и родственников, приехать некому. Правда, Наташа была довольно дружна с одной из своих двоюродных сестриц, но эта двоюродная сестрица жила от них верстах во ста и ездила к ним очень редко, потому что больная тетка не отпускала ее от себя. Сестрицы она не могла ждать; но Наташе было все равно, – лишь бы кто-нибудь приехал, хоть кто-нибудь из противных, – все бы веселее, все бы легче, все какое-нибудь развлечение.

– Ах, маменька, – радостно вскрикнула Наташа, глядя в окно.

– Что такое?.. Кого нелегкое принесло в этакую погоду? – простонала Олимпиада Игнатьевна, как будто нехотя приподнимаясь с дивана в ту самую минуту, как: колокольчик задребезжал и смолк у самого подъезда, – теперь добрый хозяин собаки не выгонит со двора.

– Маменька, – продолжала Наташа, – посмотрите, какой чудесный тарантас, какие лошади! кто бы это?

– Братец Сергей Александрыч! – вскрикнул Петруша, –

это он, право, он!

– Может ли быть? откуда же? как? – спросила Олимпиада Игнатъевна, оживляясь.

– И с ним еще кто-то, – заметил Петруша.

– Ах, маменька, в самом деле и еще кто-то! – закричала Наташа.

– Да неужто, в самом деле, это он? – повторила Олимпиада Игнатъевна, обращаясь к Петруше. – Вот неожиданный-то гость, признаюсь! – продолжала она несколько иронически, – прямо из-за границы, что ли, изволил прикатить к нам в глушь? Видно, уж все денежки прокутил, голубчик! Наташа, брось свою кацавейку-то, – надень какой-нибудь платочек на шею, а то ведь тебя, глупую провинциалку, как раз осмеют. Ведь Сергей Александрыч, матушка, не то что мы, дикари: он человек столичный, светский, за границей жил, в Париже был.

В передней между тем послышался шум. Ирония исчезла с лица Олимпиады Игнатъевны и мгновенно сменилась выражением истинно родственного восторга. С этим выражением бросилась она в переднюю навстречу к племяннику.

– Друг мой, друг мой!... – Она крепко прижала племянника к своему сердцу. – Вы ли это, батюшка мой? вас ли я вижу?.. Ах, какая радость! какая неожиданная радость! боже мой! боже мой!.. и как вы стали похожи на покойника братца! точно вот как будто он, голубчик, передо мною!.. Знаете ли вы, как он любил меня?

Олимпиада Игнатъевна рыдала без слез, припав головой к плечу родственника, обнимала и целовала его.

Положение Сергея Александрыча (ибо это, точно, был он) было затруднительно. Минут пять по крайней мере тетушка душила его в своих горячих родственных объятиях, а братец Петруша так крепко и значительно жал ему руку, что Сергей Александрыч единственно только из приличия не кричал от боли. Между тем Наташа, еще не замеченная братцем, стояла у входа в переднюю. Наташа накинула на шею розовый платочек – лучший платочек, какой только был у нее, надела чистую манишку и даже украсила руку блестящим браслетом. Она была в сильном волнении и смотрела на братца с робким любопытством. В то же время головы горничных девок попеременно высывались из полурастворенной половинки дверей. Ларька, выпуча глаза, разиня рот и почесываясь, смотрел на приезжих. Возле Ларьки стоял Петрович, буфетчик и дворецкий Олимпиады Игнатъевны, человек лет сорока, в нанковом сюртуке вердепомового цвета с пуфами на рукавах, с длинными завитыми висками, с огромным хохлом и с сережкой в ухе, – лицо важное в доме, пользовавшееся полной доверенностью барыни. Он с проницательностью обозревал приезжих, изредка только побрякивая, чтобы обратить на себя их внимание. Но не успев в этом, он принял другие, более сильные меры и, дернув Ларьку за руку, произнес громко:

– Экая дурачина! Ну что же ты чешешься при господах?

не видишь, что ли? ах вы, деревенские олухи, невежественная чернь!

Но и эта выходка не удалась Петровичу.

Голос его был заглушаем слезами, всхлипыванием, восклицаниями и другими нежными родственными излияниями.

Когда Олимпиада Игнатьевна наконец выпустила племянника из объятий, – он представил ей приехавшего с ним своего приятеля.

Затем все двинулись из передней в залу.

– А что Наташа? где же она? – спросил Сергей Александрыч у тетушки.

Наташа все еще стояла на том же месте; сердце ее забило при этом вопросе: ей было очень приятно, что братец вспомнил об ней.

– Наташа! Наташа! – закричала Олимпиада Игнатьевна, – а, да вот она! Видите ли, как она переменялась; вы ее, чай, и не узнали бы...

– Здравствуйте, сестрица, – сказал Сергей Александрыч, взяв руку Наташи.

Наташа вся вспыхнула, у нее загорелись даже уши. Она неловко присела и прошептала что-то невнятно на это приветствие.

По дороге из залы в гостиную Сергей Александрыч шел рядом с Наташею.

– Как вы похорошели, – сказал он ей, – как вы выросли!

Наташа не знала, что делать, от замешательства – и кусала губы.

– А что, вы скучаете в деревне?

– Нет-с...

В гостиной, которая от других комнат отличалась только тем, что стены ее были выштукатурены и выбелены, все чинно расселись на диване и около дивана. Над диваном висели два родственные портрета без рамок, измалеванные крепостным живописцем и загаженные мухами. Перед диваном стоял неизбежный круглый стол.

– Вы, верно, прозябли в дороге, – сказала Олимпиада Игнатьевна, обращаясь к гостям, – какая погода-то!.. не прикажете ли горяченького?.. Наташа! Вели скорей ставить самовар.

Наташа выбежала из комнаты.

В девичьей она бросилась на стул и в первый раз свободно вздохнула.

Девки обступили ее.

– Вот, сударыня, – сказала одна из них постарше, – бог нам дал неожиданных гостей. Ишь какие два молодчика прикатили, – чай, сердечко-то, матушка, у вас так и ёкает теперь.

– Ах, Аннушка, Аннушка! – проговорила Наташа.

– Ну, что охать-то, сударыня? Братец-то какой добрый: женишка нам привез...

Девки засмеялись.

– Какой вздор, перестань, Аннушка!

– А нешто он вам не нравится?

– Кто?

– А барин-то, которого братец привез?

– Да я на него и не смотрела.

– И не смотрели! видите! как, чать, уж не посмотреть на такого красавчика? А знаете, матушка, ведь братец-то приехал в нашу сторону надолго. Вплоть до зимы, слышь ты, останутся.

– А ты почем это знаешь? – спросила Наташа.

– Уж коли мне не знать, матушка! Я все знаю.

– Оттого-то она, сударыня, так скоро и состарилась, что все знает, – возразила одна из них с усмешкою.

Между тем в гостиной Олимпиада Игнатъевна, вздыхая и охая, продолжала изливать свои родственные чувства перед племянником, а Петруша расспрашивал братца о заграничной жизни, о направлении умов в Европе, о литературных новостях, о Париже и Риме.

– Ведь он у меня поэт! – говорила Олимпиада Игнатъевна, с любовью глядя на сына и обращаясь потом к гостям, – сидит себе целый день в своей комнатке, никуда не выходит и все или читает, или сочиняет. Он пишет прекрасные стишки! Прочти, дружок, которые-нибудь из них братцу.

Сергей Александрыч и его приятель с любопытством обратились к Петруше; но Петруша закусил губу, с досадою посмотрел на маменьку и отвечал, что на заказ он ни писать, ни читать не может.

Остальной вечер до ужина прошел незаметно. Сергей Александрыч был любезен. Он много рассказывал о своих путешествиях и о своей заграничной жизни. Наташа сидела против него, с величайшим вниманием и любопытством слушая эти рассказы. Она сделалась гораздо смелее и смотрела на брата уже без замешательства.

Ужин состоял, по деревенскому обычаю, из пяти или шести блюд с супом включительно, из которых почти ни одного нельзя было взять в рот. Сергей Александрыч и его приятель только из приличия брали понемногу на тарелку всего, что им подавали, но Олимпиада Игнатьевна при каждом блюде говорила им, вздыхая:

– Вы ничего не кушаете, так мало берете, – покушайте, мой голубчик. Конечно, наши деревенские блюда после парижских, – и прочее.

И гости должны были давиться и кушать.

После ужина скоро все разошлись, только Сергей Александрыч остался поневоле с тетушкой, потому что тетушка сочла необходимым передать ему с подробностями и со слезами о своей ссоре с братцем Ардальоном Игнатьичем, прибавив, что ссора эта решительно расстроила ее здоровье и что она скоро, может быть, сойдет в могилу, к утешению Агафьи Васильевны.

Расставшись наконец с тетушкой (это было уже за полночь), Сергей Александрыч отправился в назначенную ему комнату по небольшому, узкому и грязному коридору, кото-



рый слабо освещался ночником.

В коридоре он встретил Наташу.

Наташа вздрогнула, увидав его.

– Ах, это вы, братец? – сказала она.

Братец очень приятно улыбнулся.

– Я, милая кузина. – Он хотел взять ее руку, но Наташа ускользнула от него и сказала:

– Прощайте, желаю вам покойной ночи, – хотела идти и вдруг остановилась.

– Знаете ли вы этот браслет? – Она указала ему на свой браслет.

– Нет, – отвечал Сергей Александрыч, – а чем он замечателен?

– Посмотрите хорошенько.

Сергей Александрыч взял руку Наташи и начал внимательно разглядывать браслет.

– Прекрасный браслет! – сказал он, поцеловав ее руку.

– Ну, а кто подарил его мне?

– Кто?

– Будто вы не знаете?

– Не знаю.

– Ах, боже мой, это вы же мне прислали его из чужих краев. Вы уж забыли? – прибавила Наташа с упреком.

– В самом деле? я?

В эту минуту где-то скрипнула дверь. Наташа еще раз произнесла:

– Прощайте, братец, покойной ночи! – и исчезла. «Какая милая!» – сказал про себя Сергей Александрыч.

## Глава III

Но здесь я должен оставить на время Наташу и ее маменьку и обратиться к тем, которые так внезапно нарушили своим приездом однообразие и мир их деревенской жизни.

Сергей Александрыч, родной племянник Олимпиады Игнатьевны и двоюродный братец Наташи, имел состояние значительное. Этим значительным состоянием он был обязан своему родителю. Родитель Сергея Александрыча – кавалерист времен Бурцова, широкоплечий, полный, удалой, забияка, с огромными усами и с неменьшею самоуверенностью, создан был на соблазн прекрасного пола. Все барыни и барышни чувствовали к нему особенное поползновение и с волнением впивались в него любопытными очами, когда он, бывало, прокатывался мимо их окон на лихой караковой паре, сам подхлестывая пристяжную, изгибавшуюся в три погибели, или когда входил в комнату, гремя саблей, постукивая шпорами и покручивая свой густо нафабранный ус. Но более всех при взгляде на него билось сердце одной вдовы. И чаще всего встречались взоры ее с его взорами. Вдова эта была не простая вдова, – а вдова генерала и дочь – да притом еще любимая дочь – известного в то время своим богатством коммерции советника Пузина. Полная, слабонервная и сентиментальная, она проливала слезы над «Бедной Лизой» Карамзина и в то же время немилосердно таскала за косы свою

горничную Лизку. Между кавалеристом и вдовой завязались письменные сношения. В письмах она называла его Эрастом, хотя его звали Александром Игнатъичем, и требовала непременно, чтобы он звал ее Темирой, хотя ее звали Палагей Васильевной. Она страдала и вздыхала и хотела, чтобы и он страдал и вздыхал, – и забияка-кавалерист покорился воле женщины. Забывая и ром и арак, с твердостью перенося насмешки собутыльных друзей своих, – он вздыхал, глядя на нее, меланхолически покручивая ус и живописно опираясь на саблю. Мало этого: он даже написал ей в альбом стишки, сочиненные его приятелем, которые, разумеется, выдал за свои:

Бряцай, уныла лира!  
Покой свой погуби,  
О милая Темира!  
Я буду петь тебя.  
Ах, может ли сравняться  
С любовью что твоей?  
За славою гоняться  
Я не хочу, ей-ей...  
Коль песенка простая  
Понравится тебе,  
Темира дорогая!  
Вот вся награда мне.

Стишки порешили все: Темира не выдержала, разрыда-

лась, бросилась на шею к своему милому и сочеталась с ним браком. А Александр Игнатьич достиг своей цели, уплатил все долги и зажил в Петербурге великолепно и открыто, приобретя всеобщее уважение и сделавшись кумиром всех своих родных... Вскоре бог даровал ему дитя мужеского пола, которого в святом крещении нарекли Сергием. День рождения Сергея Александрыча был днем неописанной радости для его родителей, и с этого дня божие благословение, никогда, впрочем, не оставлявшее Палагею Васильевну и ее супруга, еще явнее стало обнаруживаться над ними. Несомненным доказательством тому служило, между прочим, и то, что ровно через два месяца после этого дня они приобрели за бесценок продававшееся с аукционного торга великолепное село Куроедово, принадлежавшее какому-то промотавшемуся князю и по счастливой случайности находившееся только в восьми верстах от села Брюхатова, в котором родился Александр Игнатьич и где покоем, до всеобщего воскресения, прах его родителей. Куроедово, в честь Сергея Александрыча, было тотчас же переименовано в Сергиевское.

Для того чтобы удобнее наслаждаться супружеским счастьем и спокойствием жизни, Александр Игнатьич вышел в отставку. Беспремерная любовь достойных супругов возбуждала в Петербурге во время оно всеобщий восторг и уважение. Палагея Васильевна никогда не говорила без слез о муже. «Это ангел, настоящий ангел! – повторяла она, – он обожает меня...» И в подтверждение этого рассказывала,

как однажды горничная нагрубила ей и как Александр Игнатьич, узнав об этом, вдруг весь изменился в лице, побагровел и ударил горничную изо всей силы, так что она из одного угла комнаты отлетела в другой и чуть не расшибла себе головы об угол печки...

О любви родителей к Сергею Александрычу и о воспитании его мы распространяться не будем. Довольно сказать, что на него не жалели денег. И когда Сергей Александрыч кончил курс в университете, он зажил блистательно. Вскоре после этого родители скончались. Отец Сергея Александрыча объелся устриц, а маменька не могла пережить его и последовала за ним в могилу. Сергей Александрыч в двадцать семь лет сделался полным властелином имения. Смерть родителей развязала ему руки. Послужив немного и прожив года три в Петербурге, он вышел в отставку и поехал в деревню, чтобы собрать с крестьян оброки, расплатиться с долгами и потом отправиться за границу. За границею Сергей Александрыч пробыл три года. В Германии на каких-то водах проиграл тысяч двадцать в рулетку, в Риме отдыхал от жизни и волочился на развалинах Колизея за какой-то русской княгиней или графиней, а в Париже содержал лоретку, ту самую лоретку, к которой, по его уверению, один из *bel esprit Cafe Anglais* написал знаменитый куплет:

Connaissez-vous dans la rue de Provence  
Une femme, qu'on cite partout pour sa beaute,

Pour son esprit et pour son elegance?  
Eh bien, messieurs, c'est moi, sans vanite...  
Grande et brune a l'oeil noir,  
C'est au bal qu'il faut me voir.  
Je fais des malheureux  
Et meme parfois des heureux...

Сергей Александрыч вывез из Европы большую уверенность в собственные достоинства, несколько великолепных и поэтических фраз об Италии (порядочно устаревших в наше время), щегольское платье из Лондона и начало статьи: «О будущности России и об отношениях ее к Западной Европе».

Сергей Александрыч имел мало общего с приятелем и спутником своим Григорьем Алексеичем. Григорий Алексеич был сын бедных родителей, которые заботились мало о его воспитании. Патриархальная их любовь к нему ограничивалась только заботою о том, чтобы он был сыт и здоров. Отец его даже был положительно уверен, что образование больше вредно, чем полезно, потому что сын одного богатого помещика их губернии, на воспитание которого потратили десятки тысяч, ничему не выучился и вышел негодяем, а другой молодой человек, сын другого помещика их же губернии, оставленный на произвол божий с тринадцати лет, сам, без учителей, всем наукам обучился, сделался благонамеренным и добропорядочным малым, собственными трудами добывал себе хлеб и впоследствии еще кормил своих

престарелых и промотавшихся родителей...

Светло-русые волосы, завивавшиеся от природы, голубые глаза с задумчивым выражением, бледность лица, нерешительная и медленная поступь, рано развившаяся страсть к чтению – все это резко отличало Григорья Алексеича от всех остальных деревенских барчонков-головорезов, его сверстников. Григорий Алексеич не занимался играми, свойственными его летам, и гонял от себя прочь дворовых мальчишек и девчонок, которых маменька посылала к нему для забавы и которыми мастерски помыкали и распоряжались старшие и меньшие его сестрицы. Деликатная натура Григорья Алексеича приводила в немалое изумление его достойных родителей. Папенька, глядя на него, покачивал головою и пожимал плечами или иногда, в веселый час, залившись добродушным смехом, восклицал, обращаясь к жене своей: «А что, матушка... уж полно, мой ли это сын?.. Я что-то, право, сомневаюсь в этом! ха, ха, ха!...» Маменька, целуя Григорья Алексеича и осеняя его крестным знамением, говорила обыкновенно, вздыхая: «Нелюдимое ты мое дитяtko, дикарь ты мой милый...»

Григорью Алексеичу уже было пятнадцать лет, когда один молодой, богатый и образованный помещик, ближайший сосед его родителей, обратил на него внимание. Иван Федорыч (так звали этого помещика) нашел в Григорье Алексеиче душу впечатлительную и поэтическую и притом большую любознательность. Жаль ему стало, что духовные способно-



сти бедного мальчика пропадают, лишённые средств к развитию, и ему пришло в голову взять его к себе и заняться его воспитанием. Ивану Федорычу необходимо было какое-нибудь развлечение, потому что прелесть деревенской праздности начинала несколько тяготить его. Но слух о благодетельном намерении Ивана Федорыча достиг каким-то образом преждевременно до отца Григорья Алексеича, с прикрасами и прибавлениями, отчасти оскорбительными для его родительского самолюбия...

– Ах он, разбойник, вольнодумец, хриstopродавец! – восклицал, задыхаясь, отец Григорья Алексеича, – вишь, какую штуку отколол! Отнять у меня сына хочет – только!.. Да я лучше отдам его в свинопасы, чем к нему на воспитание, к душегубцу! Пусть свиней лучше пасет с подлецом Ермошкой!..

Но судьба Григорья Алексеича решилась вдруг и совершенно неожиданно. В одно прекрасное утро отец его внезапно скончался. Дела по смерти его оказались в величайшем расстройстве. Положение вдовы было бедственно. К счастью ее, Иван Федорыч, которого покойный звал хриstopродавцем, первый явился к ней, принял в ее положении участие и упросил ее, чтобы она отдала ему Григорья Алексеича на воспитание. Вдова решилась на это, впрочем, не вдруг.

Большой старинный барский дом, отдельная комната, посвященная книгам и уставленная бюстами великих мужей древности; стол, заваленный брошюрами, газетами и книга-

ми; лакеи, обутые, обритые и одетые прилично, хотя и смотревшие несколько мрачно и исподлобья; хозяин дома, обращавшийся очень тихо и кротко со всею дворнею, – все это приводило сначала Григорья Алексеича в немалое изумление. Но он недолго скучал по родительском крове и скоро привык к своей новой жизни, которая так резко отличалась от жизни его семейства. К удовольствию наставника, ученик оказывал быстрые успехи и развивался. Через два года Григорий Алексеич мог свободно читать по – французски и даже по-немецки. Он жадно и без всякого разбора принялся за чтение. Особенно нравились ему французские новейшие драмы и романы; но Иван Федорыч остановил его юношеский порыв. Иван Федорыч не терпел новейшей французской литературы. Он боялся, что она произведет вредное влияние на его питомца, и с особенным наслаждением вводил его в таинственный и мистический германский мир, так раздражающий нервы, так обаятельно действующий на юное воображение. Гофман, Тик, Уланд, Жан-Поль Рихтер были настольными книгами Ивана Федорыча. Действительная, практическая жизнь не имела для него никакой поэзии, никакого интереса. Высочайшим идеалом была для него рыцарская, средневековая Европа. Он бродил ошупью в туманных, фантастических мирах и был совершенно глух и слеп для действительной жизни – решительно не ведая, что делается у него под носом. Добрый и кроткий от природы, искренно негодовавший против всякого притеснения и наси-

лия, он верил на слово своему управляющему-немцу, который в глазах его самым бесстыдным и наглым образом обирал и притеснял крестьян его, уверяя, что они благоденствуют. Четыре года сряду прожил он в деревне с намерением поправить свои дела, расстроенные еще его отцом и дедом, и в продолжение этих четырех лет не мог узнать положительно, ни сколько у него земли, ни сколько душ. Врожденная беспечность и лень широко развились в Иване Федорыче под благотворною сению деревенского быта. Любо и вольно было ему, в халате и туфлях, на широком восточном диване лежать целые дни с книгою Жан-Поля Рихтера в руке и с янтарем в зубах, изредка прерывая чтение или мечту ленивым криком: «Васька! трубку...» Одного только недоставало Ивану Федорычу – человека, с которым бы иногда, за чашкой чая, с янтарем в зубах, пофилософствовать и помечтать... Но вот Григорий Алексеич подрос... Ему девятнадцать лет... с ним можно говорить о чем угодно: он понимает все; чего ж лучше? Надо заметить, что Иван Федорыч, первые месяцы с горячностью принявшийся за образование своего питомца, от непривычки к труду скоро утомился и предоставил его собственному развитию. Ученику нельзя было не увлечься примером учителя... Удобрства праздной, барской жизни – соблазнительны; Григорий Алексеич обыкновенно так же лениво валялся по дивану с Шиллером, как Иван Федорыч с Жан – Полем. Григорий Алексеич по целым часам лежал на косогоре близ роши и, мечтая о чем

– то, следил за полетом жаворонка и прислушивался к его песне.

– Боже мой! как хороша природа! как хороша жизнь! – восклицал он, с чувством глядя на своего благодетеля. А тот, вздыхая, смотрел на него с завистью, думая: «Когда-то и я так же живо и страстно восхищался природою и жизнью!..» И брал дикие и мрачные аккорды... на расстроенных фортепьянах.

Однажды утром, за кофеем, Иван Федорыч как-то необыкновенно пристально и долго глядел на Григорья Алексеича. Григорий Алексеич был уже молодец хоть куда, высокий и статный. Он значительно пополнил на вольном воздухе и на даровом хлебе; его густые и волнистые волосы живописно падали до плеч, а усы пробивались с каждым днем заметнее. Иван Федорыч крепко задумался, глядя на него.

«Я взял на себя воспитание этого молодого человека, – думал он, – на мне лежит высокая и святая обязанность в отношении к нему. А я с моей отвратительной беспечностию эгоистически держал его при себе до этих лет. Это непростительно!»

Иван Федорыч, терзаемый этими мыслями, в волнении стал прохаживаться по комнате – и вдруг остановился перед Григорьем Алексеичем.

– Я виноват перед тобой, Gregoire, – произнес он торжественно и не без волнения, – виноват страшно...

Он взял Григорья Алексеича за руку и крепко пожал ее. Григорий Алексеич с изумлением посмотрел на него.

– Виноват потому, что я не заботился о тебе, потому, что я понадеялся на себя. Я думал, что могу сколько-нибудь подготовить тебя здесь к университету без посторонней помощи; эти годы тебе необходимо было ученье классическое, серьезное, – а они прошли так, они потеряны для тебя без всякой пользы. Это убивает меня, Gregoire!..

Иван Федорыч снова начал прохаживаться по комнате в сильной тревоге.

– Боже мой! боже мой! – говорил он, – хотя бы одно намерение мое, хотя бы одну мысль я мог когда-нибудь осуществить на деле!.. А мне уже тридцать четыре года! Нет, я не способен ни к чему – ни к любви, ни к дружбе, а между тем у меня сердце любящее, Gregoire, клянусь тебе!

У Ивана Федорыча выступили на глазах слезы.

– В тридцать четыре года я не могу совладать с самим собою, а беру на себя участь других! Пожалей обо мне.

Иван Федорыч бросился в кресло и закрыл лицо рукою.

– Но прошедшего не воротишь, – продолжал он через минуту более спокойным голосом, – нам надобно ехать в Москву сейчас же, не отлагая; время дорого. Ты еще там можешь приготовиться к университету, с твоими способностями это легко... Все еще можно поправить... Не правда ли? Я сам непременно поеду с тобой, я не оставлю тебя, я буду следовать за твоими занятиями.

Григорий Алексеич до глубины души был тронут словами своего благодетеля. Он бросился к нему с юношеским увлечением. Иван Федорыч крепко прижал его к груди и прошептал: «Прости меня!..»

Затем начались приготовления к отъезду, продолжавшиеся ровно четыре месяца. Известно, до какой степени наши помещики, засидевшиеся в деревне, тяжелы на подъем. Наконец давно желанный день отъезда наступил. Григорий Алексеич простился с матерью и, полный самых блестящих надежд и фантазий, отправился в Москву вместе с своим благодетелем.

## Глава IV

Во время оно существовал в Москве исключительный кружок молодых людей, связанных между собою высшими интересами и симпатиями, выражаясь языком того времени. Кружок этот состоял из молодых людей, очень умных и начитанных, превосходно рассуждавших об искусствах, литературе и о предметах, относящихся к области самого отвлеченного мышления; только избранные попадали в этот кружок, потому что попасть в него было нелегко. От молодого человека, вступающего в него, требовалось философское проникновение в сокровенные таинства жизни...

Я живо помню это время: с биением сердца, с благоговейным трепетом переступал я, бывало, порог, за которым обсуживались великие современные вопросы, где враждовали и примирялись с действительностью, где анализировались малейшие поступки человека с беспощадною строгостию, где каждый сидел в глубоком раздумье над собственным я и любовался, как дитя игрушкой, собственными страданиями; где с энергическим ожесточением преследовалась всякая фраза и где без фразы не делали ни шагу; где предавалась посмеянию и позору всякая фантазия и где все немножко растлевали себя фантазиями.

Давно разошлись в разные стороны люди, составлявшие кружок этот.

Иных уж нет, а те далече...

Одни пали в бессилии под тяжелою ношей действительной жизни или живут в своих фантазиях и совершенно удовлетворяются ими, другие очень легко и дешево примирились с действительностью, третьи... Но – это был все-таки замечательный для своего времени кружок, много способствовавший нашему общественному развитию... Память об нем всегда сохранится в истории русского просвещения...

Когда Григорий Алексеич приехал в Москву, кружок был в полном цвете. Иван Федорыч сам принадлежал к нему некогда и из него вынес свое туманное, романтическое настроение и любовь к мистицизму. Сердце Ивана Федорыча сильно билось, когда он подъезжал к Москве, и нетерпение увидеть прежних друзей своих возрастало в нем более и более.

– Я с ними провел лучшие дни моей жизни, – говорил Иван Федорыч своему питомцу, – ты увидишь, Gregoire, что это за люди, как я духовно связан с ними! Какие святые отношения всегда существовали между нами!.. Ты увидишь их! – И у Ивана Федорыча дрожали слезы на глазах, когда он говорил это.

Но Ивану Федорычу готовилось разочарование. В продолжение нескольких лет, проведенных им в деревне, все страшно изменилось в его кружке. Романтизм уже давно перестал быть в ходу, о нем отзывались друзья его с едкими насмешками, с презрением; на романтиков смотрели они уже как



на людей отсталых и пошлых. О Жан-Поле, Гофмане, Тике, к великой скорби Ивана Федорыча, и помину не было. Всякая склонность к мистическому преследовалась беспощадно. Порывания туда (dahin), различные праздные сетования и страдания были отброшены. Все, напротив, кричали о примирении с действительностью, о труде и деле (хотя, как и прежде того, никто ничего не делал). Шиллер низвергнут был с пьедестала; всеобъемлющий Гете обожествлен, последнее слово для человечества отыскано в Гегеле, и решено, что далее его человеческая мысль уже не может идти... У Ивана Федорыча закружилась голова от всех этих новостей, и не раз пробовал он вступаться за своих любимых писателей, за прелесть созерцательной жизни, которую почитал неотъемлемою принадлежностью деликатных натур, за готические храмы и за мистическую поэзию, но с ним даже не спорили, ему отвечали только ироническими улыбками. Друзья его после первого свидания с ним решили втайне, что он не способен ни к какому развитию и по ограниченности природы должен навеки погрязнуть в романтизме.

Итак, эти святые отношения, которые некогда связывали Ивана Федорыча с его друзьями и о которых он с таким чувством говорил Григорью Алексеичу, – уже не существовали. Иван Федорыч понял это и начал хандрить и страдать, беспрестанно вспоминая о своем прошедшем с болезненным наслаждением.

Между тем Григорий Алексеич, первые месяцы по приез-

де в Москву принявшийся за ученье с большим жаром, успел уже утомиться, отложил намерение вступить в университет – и ходил только на лекции к некоторым профессорам, которые ему особенно нравились. День, в который Иван Федорыч представил его своим друзьям в качестве молодого человека, подающего надежды, – этот день был торжественный для Григорья Алексеича. У него замерло сердце, когда он в первый раз вступал в этот кружок... И все в нем показалось ему необыкновенным: на челе каждого из присутствующих он читал высшее призвание и с жадностью ловил каждое слово. Правда, многое из слышанного им было ему темно и непонятно, но это-то и нравилось ему. В простоте и незлобии своего молодого сердца он полагал, что вся глубина человеческой мудрости заключается именно в темном и непонятном.

Григорий Алексеич, с своей стороны, произвел на друзей своего благодетеля очень приятное впечатление и принят был под их покровительство. Способности его к развитию признаны, нужно было только, как говорили, освободить его от влияния Ивана Федорыча, который своим болезненным романтическим настроением уже успел сделать ему много вреда. Под руководством своих новых наставников Григорий Алексеич начинал мало – помалу посвящаться в глубокие таинства науки, искусства и жизни... Он принялся изучать и переводить Гете и даже попробовал заглянуть в Гегеля. Первый и огромный шаг к будущим успехам был уже

сделан. С этой минуты авторитет Ивана Федорыча утратил для него все значение. На своего благодетеля он посматривал уже с ирониею, как на человека отставшего, и исподтишка иногда подсмеивался над ним довольно остроумно. Благодеяния Ивана Федорыча сделались ему тягостны. Григорий Алексеич ощутил в себе потребность выйти из-под его опеки и начать жизнь самостоятельную. К тому же с некоторого времени Иван Федорыч жаловался на своего управляющего, который мало высылал ему денег. Надобно было на что-нибудь решиться. Григорий Алексеич крепко призадумался о своем положении. Он понимал, что, вечно пребывая в сфере отвлеченных умствований и созерцаний, легко можно умереть с голоду, что необходимо ему избрать какой-нибудь род жизни, начать трудиться на каком-нибудь поприще для приобретения себе независимости и насущного куска хлеба. Григорью Алексеичу, как и всякому русскому дворянину, предстояли на выбор два обширные, блестящие поприща для деятельности: воинское и гражданское... Но, увы! герой мой не был приготовлен ни для того, ни для другого. Пойти в офицеры он не мог, потому что не ощущал в себе достаточно геройского духа и воинских склонностей; сделаться чиновником не хотел, потому что для этого нужно было прежде приобрести чин, а для приобретения чина выдержать университетский экзамен. Что же оставалось ему? В качестве недоросля из дворян заняться литературой? И в самом деле, Григорий Алексеич с удовольствием остановил-

ся на этой мечте...

Таким образом, успокоя себя, Григорий Алексеич стал лелеять и развивать в себе эту соблазнительную мечту, продолжая жить на счет своего благодетеля. Но Иван Федорыч вдруг и совершенно против собственного желания должен был оставить Москву. Он получил письмо от своего управляющего, который, ссылаясь: 1) на плохие урожаи, 2) на дорогое содержание обширной дворни и 3) на необходимые и значительные издержки, как-то: на поправку двух ветряных и одной водяной мельниц и на перестройку служб, пришедших в крайнюю ветхость, – объявлял наотрез, что впредь денег вовсе высылать не может.

Горько было прощание Ивана Федорыча с Григорьем Алексеичем.

– Может быть, мы видимся с тобою, Gregoire, в последний раз, – говорил он, едва удерживая слезы, – я, кажется, уж никогда не ворочусь сюда; но участь твоя будет обеспечена. Не тревожься – я отвечаю за это. У тебя... у тебя еще много надежд впереди, ты еще многое можешь сделать, а мой путь уже кончен...

Иван Федорыч глубоко вздохнул.

– Одинокий, я должен погрязнуть в деревенской глуши, без дела и без мысли, окруженный не людьми, а медведями. Дела мои с каждым годом все более и более расстроиваются. Меня кругом обманывают, теперь я все вижу ясно... Я всегда мечтал о том, чтобы улучшить участь моих крестьян: это

была любимая мечта моя! А между тем они, говорят, разорены – и разорены в глазах моих! И я при всем моем желании помочь им – не могу, потому что не знаю как... Вот где наше трагическое, Gregoire!.. Вот где! Воля наша всегда в противоречии с делом. Все мы пустые и ничтожные фантазеры, не способные ни к чему.

Иван Федорыч обнял Григорья Алексеича и горько заплакал.

– Не забывай меня, пиши ко мне! – произнес он едва внятным голосом.

Григорий Алексеич также плакал.

– Пиши же ко мне, – повторил Иван Федорыч, – бога ради, пиши, хоть изредка, хотя по несколько строчек пиши... Прощай, Gregoire... прощай... – Иван Федорыч бросился в тарантас, лошади двинулись. Он в последний раз выглянул из тарантаса, махнул Григорью Алексеичу рукою и упал на подушки.

Долго провожал его глазами Григорий Алексеич, покуда тарантас совсем скрылся из глаз, покуда колокольчик совсем замер в отдалении... И все стихло кругом Григорья Алексеича. На широкой песчаной дороге, расстилавшейся перед ним, не было ни души человеческой; ни один листок не шелвелился на тощих деревьях, окаймлявших дорогу; заря медленно замирала, все предметы облекались тенью и сумраком, и стало грустно Григорью Алексеичу...

«Странно, – подумал он, возвращаясь в Москву, – я не

воображал, чтобы мне было так тяжело расставаться с этим человеком!»

В первый раз Григорий Алексеич должен был завестись собственным хозяйством. Половину из занятой на дорогу суммы Иван Федорыч оставил ему на его издержки и, кроме того, обещал при первой возможности выслать ему из деревни еще денег. Григорий Алексеич не надеялся, однако, на будущие блага. С похвальным благоразумием рассуждал он, как ему необходимо стараться всячески умерить свои расходы и не позволять себе ни малейшей прихоти. Он полагал даже, что самые лишения, как победа над самим собою, будут ему приятны. Но денег, оставленных ему благодетелем его, с присоединением небольшой суммы, присланной ему от матери, которыми, по его расчету, можно было прожить по крайней мере месяцев пять, к удивлению его самого, едва достало ему на два месяца, и между тем Григорий Алексеич, точно, не был мотом: он вовсе не имел отчаянной удали тех русских людей, которые, заломя шапку набекрень, живут себе припеваючи на авось и ставят последний грош ребром, никогда уж потом не жалея о нем. Григорий Алексеич был скуп по натуре и вместе расточителен по слабости воли. Малейшая борьба с самим собою приводила его в отчаяние. Соблазнясь какою-нибудь дорогою и совсем ненужною для него вещью и приобретя ее (а это случилось с ним беспрестанно), он внутренне бранил себя и терзался раскаянием. И эта вещь, за минуту соблазнившая его, делалась ему до того

противной, что он тотчас же готов был отдать ее за полцены. Начиная сознавать собственное бессилие, он в то же время всеми мерами старался оправдывать себя перед самим собою и складывать вину на других...

– Я бы не страдал теперь так, как я страдаю, – часто говорил он, – если бы мне дано было надлежащее воспитание; но вместо того чтобы развивать, укреплять во мне волю – ее методически обессиливали, – и этим я обязан моему благодетелю... Мне есть – таки чем помянуть его!

Здесь нельзя не заметить, что Григорий Алексеич относился так желчно о своем благодетеле большею частию в такие минуты, когда у него не оставалось ни гроша в кармане из денег, занятых им у приятелей, и когда он поневоле, в надежде на будущие труды свои, должен был снова прибегать к займам. Напротив, нередко он вспоминал об Иване Федорыче с любовью.

Григорий Алексеич иногда поражал многих странными переходами от расположения самого кроткого и нежного к необъяснимой жестокости и нетерпимости. И не одно это – у Григорья Алексеича были и другие кое-какие странности, происходившие, вероятно, от развития его в исключительном кружке и совершенного незнания условий общественной жизни. Он очень любил болтать о самом себе и с необыкновенным диалектическим искусством объяснять малейшие тонкости и оттенки собственного я.

Зато когда, бывало, заговорит он о любви, о женщине во-

обще или так о какой – нибудь женщине в особенности, его можно было заслушаться. Казалось, ему была доступна вся сокровенная сердечность женщины, весь внутренний мир ее. Где и когда мог он так превосходно изучить женщину? я терялся в догадках; ибо мне достоверно было известно, что в описываемую мною эпоху, кроме двух московских гризеток с Кузнецкого моста, Григорий Алексеич не видал вблизи никакой женщины.

Но как высоко, как свято понимал он любовь, и как лицо его преображалось, когда он говорил о любви!.. Глядя на него и слушая его, каждый невольно мог вперед поручиться за полное, беспредельное счастье женщины, которую избрет он... Потребность любви с каждым днем сильнее развивалась в нем (Григорью Алексеичу было уже двадцать пять лет), но будущая героиня его романа жила еще только в его горячей фантазии. Иногда казалось ему, что он, счастливец, уже владеет своим идеалом, что вечером собрались к нему его приятели – и она в простом, но изящном уборе за круглым столом сама разливает им чай... Душистый пар от чая расстилается по комнате; в серебряной корзине лежат сухари и бриоши, огонек сверкает в камине, и разговор не умолкает ни на минуту. Она одушевляет всех и все и с необыкновенным женским тактом и проницательностью разрешает самые трудные вопросы. Приятели дивятся ее многостороннему уму, ее обширным познаниям, ее всепокоряющей грации, а у Григорья Алексеича захватывает дух от полноты



блаженства.

Более года не получая ни денег, ни писем от Ивана Федорыча и кое-как пробиваясь одними займами, Григорий Алексеич дошел наконец до последней крайности. Он продал всю свою движимость и переехал к своему знакомому, который тяжкими трудами добывал себе кусок насущного хлеба и на которого Григорий Алексеич и все его приятели смотрели как на ограниченного, жалкого, узколобого труженика, который далее долга ничего не видит. Письмо, полученное Григорьем Алексеичем от матери, объяснило ему наконец непонятное молчание Ивана Федорыча. Мать уведомляла его между прочим, что благодетель его сочетался со вдовою Марфою Ильинишной Бутеновой и что все в околотке у них не могут надивиться этому браку, ибо-де Марфа Ильинишна старше его семью годами и к тому же подвержена нервному расслаблению.

Прочитав эти строки, Григорий Алексеич иронически улыбнулся.

«Так и должно было ожидать! – подумал он, – романтики и пустые идеалисты обыкновенно мечтают о Миньонах и Теклах, о возвышенной любви и свободе, а кончают тем, что вступают в законное сожителство с Марфами Ильинишнами, которые потом колотят их и перед которыми они пикнуть не смеют».

Известие об Иване Федорыче было верно.

Иван Федорыч, убегая от одурающей тоски и бездействия,

сам не ведая как очутился в объятиях вдовы-помещицы Бутеневой и потом сочетался с нею браком. Марфа Ильинишна не замедлила обнаружить удивительную распорядительность в хозяйственных делах, соединенную с необыкновенною твердостью характера и силою воли, несмотря на нервное расстройство. Еще до окончания медового месяца управляющий Ивана Федорыча, как носились слухи, был выгнан ею, и она торжественно приняла в свои руки бразды правления. После этого Григорий Алексеич уже не получал никаких вестей о своем благодетеле, и дальнейшая история жизни Ивана Федорыча остается покрытою мраком неизвестности.

Надежды Григория Алексеича на денежную помощь в настоящем и на обещанное ему обеспечение в будущем рушились. Тяжкая мысль, что он не может определить своего существования и, беспрестанно толкуя о деле, ничего не делает, а все продолжает жить на чужой счет, страшно давила его. От матери своей он ничего не получал, кроме благословений да мешков с орехами и с сушеной малиной. Старуха сама едва поддерживала свое существование. Григорий Алексеич совсем было упал духом, но, к счастью его, в эту минуту какому-то петербургскому журнальному антрепренеру понадобился сотрудник. Как ни жалки были условия, предложенные антрепренером, Григорий Алексеич должен был согласиться на них и отправиться в Петербург, чтобы не умереть с голоду.

В Петербурге на одном литературном вечере Григорий Алексеич познакомился с Сергеем Александрычем, которого от нечего делать иногда интересовала литература.

Сначала в обществе его Григорий Алексеич чувствовал неловкость и тяжесть ничем непобедимую. Он в первый раз сошелся лицом к лицу с человеком светским. Он оробел перед аристократической обстановкою Сергея Александрыча; но самолюбию его было лестно знакомство с богатым и светским человеком, хотя Григорий Алексеич стыдился в этом признаться самому себе...

Григорий Алексеич в Петербурге, как и в Москве, фантазировал о любви, о славе, о человечестве, громил романтизм в своих журнальных статейках и беспрестанно жаловался на безденежье. Он никак не мог соразмерить свои расходы с приходами. К тому же журнальный антрепренер платил ему заработанную плату неаккуратно, и Григорий Алексеич в Петербурге, как и в Москве, принужден был занимать по мелочи у знакомых. Однажды он решился занять даже у Сергея Александрыча. Ему, впрочем, нелегко было занимать... Долги страшно терзали его, а между тем – ни любви, ни славы! жизнь нестерпимо однообразная, и ежедневные записки антрепренера: «Да что же статейка? не ленитесь, бога ради, пишите поскорей. Дело стало в типографии» и прочее... Писать, когда ничего нейдет в голову, писать по заказу, когда тоска грызет и давит, когда нет ни мысли в голове и ни гроша в кармане! Литература опротивела Григорью Алексеичу. Но

в это время неожиданное обстоятельство вывело его из мучительного положения. Матушка его скончалась. Он продал доставшееся ему именье своей старшей сестре, выручил за него тысяч двадцать – и уехал за границу на одном пароходе с Сергеем Александрычем.

За границей Сергей Александрыч стал ручнее, сбросил с себя светское петербургское величие и вел себя просто. Григорью Алексеичу легко было сойтись с ним, и, несмотря на то, что образ мыслей их был не совсем одинаков, они скоро до того сделались необходимы друг другу, что почти все время пропутешествовали неразлучно. Сергею Александрычу нужно было в дороге развлечение: одному ездить скучно. Он рад был, что нашел в Григорье Алексеиче живого и умного собеседника; Григорий Алексеич, с своей стороны, был чрезвычайно доволен проехаться по чужим землям с роскошью и с удобством, о котором ему и во сне не грезилось.

Три года странствования прошли для Григорья Алексеича незаметно и быстро. Все в Европе в высшей степени интересовало его, и горячо сочувствовал он всем великим современным вопросам среди бурной и разнообразной парижской жизни. Кафе и театры, университет и цирки публичные суды, балы и гулянья, профессора и лоретки... все приводило его в экстаз, Григорий Алексеич влюблялся на каждом шагу. Мысль о святой и высокой любви, о которой он так прекрасно грезил в отечестве, – в Париже ни разу не пришла ему в голову.

И только на возвратном пути, приближаясь к отечественной границе, Григорий Алексеич начал немного приходить в себя и задумываться. Из двадцати тысяч его единственного достояния осталось у него тысяч девять, не более. Жить процентами с этого капитала не было возможности, надобно было опять приниматься за журнальную работу, но уже Григорий Алексеич без досады и горького смеха не мог вспомнить о своих литературных статьях, которые казались ему некогда образцами глубокомыслия. Он недоумевал, что ему предпринять и каким образом и на каком поприще, с его идеями и направлением, сделаться полезным отечеству и самому себе. Эта трудная задача приводила его в отчаяние – и потому он всячески старался отогнать от себя мысль о будущем. Но Сергей Александрыч, располагавший прямо из-за границы отправиться на лето к себе в деревню, стал звать его с собою.

Сергею Александрычу необходимо было в недрах патриархальной русской жизни отдохнуть от путевых впечатлений и, главное, поправить свои несколько расстроенные финансы...

Любезное предложение Сергея Александрыча было скоро и охотно принято Григорием Алексеичем, потому что оно избавляло его на время от труда об устройстве собственной участи.

Таким-то образом оба приятеля очутились в селе Благовещенском – куда и нам пора последовать за ними...

## Глава V

Прибытие их привело в страшное волнение всех брюхатовских обывателей вообще и Агафью Васильевну в особенности. На широком и круглом лице ее выступили красные пятна, трехъярусный подбородок ее затрепетал и заколыхался, и левый глаз без бельма засверкал дико. С громом отворила она дверь в кабинет своего супруга. Ардальон Игнатьич почивал сладким сном. Агафья Васильевна растолкала его с трудом. Ардальон Игнатьич зевнул, потянулся и пробормотал сквозь сон:

– Ах, если бы теперь, душенька, стаканчик брусничной водицы выпить! – и зашевелил губами и языком.

– Вставайте же! – вскрикнула, задыхаясь, Агафья Васильевна, выведенная из терпения, – проснитесь, опомнитесь... скорее, скорее...

Ардальон Игнатьич, испуганный, вскочил с дивана, протирая глаза:

– Что такое, матушка? пожар?

Агафья Васильевна горько улыбнулась, обозрев супруга с ног до головы.

– Вы скоро совсем одуреете от сна. Что ж вы, очнулись наконец? Можете вы понимать-то, что вам будут говорить, или нет?

– А что такое?

– Что? Вы ничего не знаете и знать не хотите! Без меня вы пропали бы; я за вас должна входить во все: расправляться с людьми, смотреть за всем хозяйством, ездить в поля, бегать в анбары, терпеть оскорбление от какого-нибудь подлеца Брыкалова, – и вы хоть бы раз вступились за беззащитную женщину, за жену!.. Ну, да уж моих сил не станет, – я скоро все брошу, это я вам говорю в последний раз... Впрочем, теперь не в этом дело... Знаете ли вы, например, кто приехал сюда?

– К нам?

– Не беспокойтесь, не к нам. Кто станет ездить к нам? Вы не умели заслужить ничьей любви, ничьего уважения. Вас никто, ни посторонние, ни родные, в грош не ставят, – вы...

– Да кто приехал? к кому? – бормотал робко смущенный супруг, в недоумении почесывая свою лысину.

– Ваш родной племянник, Сергей Александрыч... Слышите ли вы? Сергей Александрыч? Он изволил прокатить сейчас мимо нашего дома и не удостоил даже взглянуть на наши окна. Теперь он у вашей милой и доброй сестрицы, у Олимпиады Игнатьевны... Видно, эта подлая притворщица чем-нибудь особенно умела заслужить его любовь и уважение, – заметьте, он к ней к первой является с визитом... Впрочем, и не мудрено... У нее в доме есть недурная приманка для молодых людей. Наташа девочка смазливенькая и к тому же умеет делать глазки... Что за беда, что двоюродный братец! Нынче все позволено. Двоюродные братья женятся же у немцев на двоюродных сестрах, а в Париже и на

родных сестрах давно женятся. Он же ведь прямехонько из Парижа... Только слушайте, я заранее объявляю вам, Ардальон Игнатьич, если между вашим племянничком и племянницей заведутся какие-нибудь шашни, в чем я не сомневаюсь, – я пяти минут не остаюсь здесь. У меня три дочери невесты, девушки нравственно воспитанные, с благородными чувствами. Я не потерплю никакого скандала и, в случае крайности, сама все лично объясню губернатору и буду просить его защиты.

Агафья Васильевна так много наговорила ему, что Ардальон Игнатьич решительно стал в тупик. «Да что объяснять губернатору-то?» – подумал он.

– Ну что ж вы молчите? – вскрикнула Агафья Васильевна.

– Я... ничего, – отвечал Ардальон Игнатьич.

– Так вас не трогает, что ваш родной племянник пренебрегает вами, знать вас не хочет?

– Отчего? – спросил удивленный Ардальон Игнатьич. – Почему вы это знаете?

– Чтобы понять это, кажется, не нужно много иметь тут, – Агафья Васильевна ткнула себе в лоб, – вы старший в их роде – следовательно, к вам он должен питать особую аттенцию, должен почитать вас вместо отца, а он преспокойно проезжает мимо вашего дома, как мимо дома постороннего. Это явно показывает, что он и не заботится о вас.

– Да он еще будет.

– Вы мне жалки! Вы человек без амбиции!.. – вскрикну-



ла Агафья Васильевна, всплеснув руками. – Вам ничего в голову не вобьешь. Неужели вы не понимаете, что он к вам к первому должен приехать? Коли вы сноситесь спокойно от всех афронты, – так я-то не могу и не хочу сносить их! Понимаете ли вы? я уж и без того слишком много терпела от ваших родных.

Произнеся это, Агафья Васильевна вышла из кабинета своего супруга, с гневом захлопнув дверь за собою. Ардальон Игнатьич в беспокойстве прошелся по комнате, заложив руки назад, и потом опустился в кресла, сказав самому себе:

– Жена права: ему бы, действительно, надо было мне первому сделать визит...

Между тем как Агафья Васильевна вела разговор с супругом, ее наперсница Стешка, весьма краснощекая и здоровая девка, прибежала на двор к Олимпиаде Игнатьевне, чтобы собрать поподробнее сведения о приезжих от Петровича, который за нею сильно ухаживал.

Стешка в тот же вечер все слышанное от Петровича передала барыне.

На другой день Сергей Александрыч явился к своему дядюшке. К совершенному изумлению доброго Ардальона Игнатьича, Агафья Васильевна, несмотря на резкий отзыв свой об Сергее Александрыче, приняла его с почетом и угощала на убой. Домашним вареньям, соленьям, настойкам, наливкам и водянкам не было конца. Старшая из дочерей Агафьи

Васильевны, Любаша, по ее приказанию, после завтрака пропела перед братцем русский романс, а две меньшие – Икочка и Зиночка, протанцевали танец с шалью. Затем принесены были два ковра домашней фабрики и разостланы в гостиной. Один из этих ковров Агафья Васильевна подарила Сергею Александрычу и заметила со слезами, что она никого еще из родственников своих не любила, не уважала так, как его, потому что ей известны прекрасные и редкие качества души его... Прогостив трое суток в селе Брюхатове, Сергей Александрыч отправился к себе в Сергиевское.

Вскоре за тем, по его просьбе, переехала туда и Олимпиада Игнатьевна на все лето и со всем семейством, потому что дом ее, пришедший в ветхость, требовал значительных и немедленных поправок.

Слухи о приезде Сергея Александрыча быстро распространились по всей губернии. Толки о нем и его приятеле надолго заняли всех, не исключая самого начальника губернии. Все родственники Сергея Александрыча, близкие и дальние, даже и такие, которые по несколько лет не выезжали из своих деревень, пришли в волнение. И допотопные колымаги и тарантасы различных форм и величин потянулись по дороге к Сергиевскому. Влияние Сергея Александрыча на родственников производило чудеса. К таким чудесам относилось, между прочим, примирение Агафьи Васильевны и Ардальона Игнатьича с Олимпиадой Игнатьевной.

Олимпиада Игнатьевна упала на шею к братцу с раздира-

ющим завыванием и стоном. Братец хлопал глазами и всхлипывал. Агафья Васильевна кричала:

– Ох, умираю, умираю, поспособите, родные! – и хлопнулась в кресла...

Дочери ее бросились к ней с визгом.

– Уксусу! уксусу! – раздавалось со всех сторон. Олимпиада Игнатъевна долго завывала без слов, Ардальон Игнатъич долго молчал, всхлипывая и хлопая глазами. Наконец Олимпиада Игнатъевна произнесла слабым голосом, с расстановками и вздохами:

– Батюшка-братец, голубчик ты мой, ты знаешь, как я всегда любила тебя... Родственные чувства были внушаемы нам с детства... Наше семейство особенно гордилось этим... Его ставили в пример другим... И я, видит бог, никогда не изменялась к тебе, я не могла тебя разлюбить, несмотря на всё...

– Сестрица, – говорил Ардальон Игнатъич, заикаясь от волнения, – сестрица, я чувствую... мне больно было... я вас всею душою уважаю, забудемте все, сестрица.

– Я давно все забыла, не поминай о прошедшем, голубчик, – сказала Олимпиада Игнатъевна, нежно целуя братца, – я тебя люблю так, как, может быть, тебя никто не любит.

«А! это камешек в мой огород! – подумала Агафья Васильевна, нюхая уксус, который старшая дочь держала у ней под носом, – хорошо же, голубушка, уж коли дело пошло на это, так я тебя заброшу грязью и камнями».

Агафья Васильевна во время обморока не пропустила ми-

мо ушей ни одного слова Олимпиады Игнатъевны.

Открыв глаза, она начала озираться кругом себя и спросила слабым голосом: «Где я и что со мною?» – потом, найдя нужным совсем прийти в себя, привстала с кресел, опираясь на ручки, и посмотрела на Олимпиаду Игнатъевну. При этом Олимпиада Игнатъевна, несмотря на горячие родственные объяснения с братцем, все время не выпуская из виду Агафьи Васильевны, – также привстала и посмотрела на нее. Обе они в одно время сделали шаг вперед.

– Сестрица! – простонала Олимпиада Игнатъевна.

– Сестрица! – проговорила Агафья Васильевна со вздохом.

Обе растопырили руки для объятий и, сойдясь, взвизгнули в одно время.

Ардальон Игнатъич, смотря на эту картину, не выдержал – и зарыдал.

Примирясь с Олимпиадой Игнатъевной, Агафья Васильевна осталась на несколько времени гостить в Сергиевском.

Она, по-видимому, была от всего в восторге, и в особенности от Григорья Алексеича.

– Ах, родной вы мой! я не могу налюбоваться на вашего приятеля, – сказала она однажды Сергею Александрычу, – этакого милого, этакого приятного, обходительного, кроткого и скромного молодого человека я еще не встречала. Точно красная девушка; смотреть на него любо.

И вслед за тем она бросила нежный взор на Григорья Алексеича, который играл в это время на китайском бильярде с Любашею...

Петруша «упивался поэзией верховой езды», как он сам выражался, то есть, говоря просто, ездил верхом на двадцатилетнем коне, который едва передвигал ноги.

Наташа была гораздо бойчее своего брата. Она страстно любила верховую езду и управляла лошастью смело и ловко. Кавалькады устраивались довольно часто. Все были довольны и веселы. Только кавалькады начинали несколько расстроивать Агафью Васильевну.

– Я не надивлюсь вам, Олимпиада Игнатьевна, – говорила она, – как это вы позволяете дочери вашей ездить верхом. Долго ли до беды?.. Это уж совсем, кажется, не женское дело. Откуда она, матушка, набралась у вас такой смелости?.. Мои не таковы! Они у меня всего боятся, от всего краснеют, – такие глупые. Я уж их частенько браню за это и всегда ставлю в пример вашу Наташу.

Присутствие Наташи нарушало спокойствие духа Агафьи Васильевны. Она во все время пребывания в Сергиевском постоянно язвила ее насмешками, преследовала наблюдениями и употребляла всевозможные меры, чтобы не допускать до нее Григорья Алексеича.

Когда вечером все собирались в кружок, Агафья Васильевна непременно садилась возле него и заливалась соловьем: о испорченности нынешних нравов, о дурном воспи-

тании девиц и о тому подобном; мимоходом замечала, что ее дочери воспитаны в страхе божием, и обращала внимание его (разумеется, косвенно) – на удивительную тонкость талии и поразительную белизну тела у Любаши. Она подзывала Любашу к себе, делала ей какое-нибудь замечание и в это время поправляла ей, например, бантик на груди или кушачок, перетягивавший ее талию, – или что-нибудь подобное.

Григорий Алексеич не знал, куда деваться от внимательности Агафьи Васильевны. Она и вообще все родные Сергея Александрыча выводили его из терпенья. Он проклинал и ее, и дочерей ее, и Петрушу, который надоедал ему своей поэзией и своими глубокими взглядами. Одна только Наташа примиряла его с окружавшим. Наташа затронула его любопытство отсутствием всякой манерности, своею безыскусственностью, живостью и светлым, откровенным выражением лица. С каждым днем открывал он в ней какие-нибудь новые достоинства: поэтическую влажность в глазах, особенную привлекательность в улыбке, чистоту души в простосердечном звонком смехе и так далее. «Неужели, – думал он, – эта девушка должна заглохнуть без любви и без мысли среди жизни, ее окружающей, никем не замеченная, никем не оцененная? Что суждено ей: преждевременно умереть от чихотки или расплыться, отупеть и превратиться в толстую и неуклюжую барыню?»

Наташа начинала не на шутку возбуждать его участие. «Ей необходим человек, – думал он, – который бы понял ее, кото-

рый бы способствовал ее развитию, который бы пересоздал ее».

Что же касается до хозяина дома, то он в своем Сергиевском, среди своих гостей – родственников и усердной челяди, чувствовал себя чуть ли не лучше, чем в Лондоне, в Париже, в Петербурге или где бы то ни было.

Родственники смешили его, и он с большим юмором передавал Григорью Алексеичу свои разговоры с ними и различные анекдоты об них.

Над Наташей он смеялся так же, как и над другими, впрочем, отдавал ей справедливость в том, что она довольно ловка и ездит верхом недурно, и замечал, что из нее, вероятно, могло бы выйти что-нибудь порядочное, если бы ей дано было хорошее воспитание.

## Глава VI

Первые дни пребывания своего в Сергиевском Наташа испытала много разнообразных ощущений, каких еще не случилось испытывать ей. Перемена места, новые лица, шум, движение, к которому она не привыкла, роскошь, о которой не имела понятия, – все это сильно на нее подействовало. К тому же Олимпиада Игнатьевна, занятая родственниками и гостями своего племянника, не имела времени заниматься ею – и Наташа чувствовала себя свободною. Ей сделалось легко и весело, как никогда не бывало, и она предалась свободе с увлечением. Ей казалось, что на всем земном шаре не могло быть места лучше и живописнее Сергиевского...

И в самом деле, Сергиевское живописно. Оно расположено на гористом месте, в полуторе версте от Волги. Старинный большой двухэтажный каменный дом с бельведером, окруженный флигелями, и пятиглавая церковь стоят у ската горы. Внизу перед домом поемные луга со стогами сена, с молодыми рощами и кустарником, сквозь которые местами блещут полосы воды. Луга эти тянутся вплоть до самой Волги – и картина замыкается ее утесистым и крутым берегом, на вершине которого виднеются подвижные точки ветряных мельниц. Весною, при разливе Волги, Сергиевское становится еще живописнее: вода, затопляя луга, доходит до самой подошвы горы, на которой стоят дом и церковь, и на



этом огромном водяном пространстве образуются голые песчаные острова, выходят из воды круглые зеленеющие вершины деревьев или высовываются засохшие ветви кустарника и мелькают белые паруса расшив и барок. Вправо за домом сад и роща, носящая до сих пор название зверинца, хотя ныне этот зверинец служит приютом одним только робким белкам и зайцам. Часть сада расположена в старинном, классическом вкусе, но его прямые и длинные липовые аллеи, некогда тщательно подстригавшиеся, теперь разрослись на воле. Дорожки сада в отдаленных от дома местах совсем заглохли; храмы Славы и китайские павильоны развалились и обросли крапивой и репейником; мостики, перекинутые через овраги и ручьи, еле держатся от гнилости, поверхность прудов подернулась зеленью и цветами болотных лилий, – но этот сад сделался еще гораздо лучше в своем запустении.

Наташе все нравилось в Сергиевском: этот полузаглохший сад, густая разросшаяся роща с живописными тропинками и оврагами, с сочною растительностью, с вековыми дубами; горы, освещенные солнцем; поемные луга с душистыми стогами и синеющая вдали Волга. Красота природы имела на нее сильное влияние, и потому она не чувствовала ни малейшей привязанности к месту своего рождения – к плоскому и болотистому селу Брюхатову, где ничего не было перед глазами, кроме изб, вросших в землю, да куч сгнившей соломы среди необозримой глади.

Григорий Алексеич, также любивший природу, часто со-

путствовал Наташе в ее прогулках.

Агафья Васильевна отправилась восвояси не совсем в приятном расположении духа. Выехав за околицу села Сергиевского, она завела с своею Любашею весьма горячий разговор, который был заключен следующей энергической речью:

– Я, сударыня, знать ничего не хочу... Что, ты думаешь, что женихи вот так сами, без всякой приманки, и побегут к тебе? как же, дожидайся. Ты никого не умеешь заинтересовать собой, никого... это правда, что за мной в твои лета мужчины стадами бегали, ну да это потому, что я умела привлечь их к себе! Впрочем, уж как ты там хочешь, а нынешний год должна будешь сыскать себе жениха. Я тебе не позволю век в девках сидеть и торчать перед моими глазами... Вон посмотри на Наташу, – это, правда, что уж в ней никакого пути нет и гадкая нравственность, – да зато, матушка, глазками да ласками возьмет свое и, к стыду моему, прежде тебя выйдет замуж. Видела ли ты, что к ней и Сергей Александрыч и Григорий Алексеич так и льнут, а ты между тем, как дура, все время сидела оплеванная...

Агафья Васильевна говорила вздор. Наташа никогда не употребляла никаких стараний привлечь к себе и вовсе не умела ласкаться и делать глазки. С Сергеем Александрычем обращалась она как с родным – свободно и просто. Не любить братца ей казалось невозможным, потому что с самой колыбели ежедневно все толковали ей о родственной любви,

и она, совсем еще не зная Сергея Александрыча, поставляла уже себе за долг любить его. А присутствие нового, незнакомого ей лица производило на нее сначала даже тяжелое впечатление. С Григорьем Алексеичем первые дни обращалась она совершенно как степная, деревенская барышня: едва отвечала на его вопросы, и то не глядя ему в лицо.

Но робость, которую она ощущала в присутствии Григорья Алексеича, была побеждена в ней скоро его тихим, льющимся в душу голосом, его мягким, кротким и задумчивым выражением лица. В звуках его голоса слышалось Наташе, так по крайней мере думала она, что-то родное, что-то давно знакомое. Его взгляд пробуждал в ней любопытство и участие к нему. «Он, верно, испытал много несчастий, – думала она, – он, верно, много страдал!» Наташа сравнивала его с братцем, и Григорий Алексеич еще более выигрывал в глазах ее от этого сравнения. Она начинала чувствовать к нему несравненно большую симпатию, чем к Сергею Александрычу, и сама не понимала, как это случилось. Ей даже приходила в голову мысль, что, если б Григорий Алексеич был ее братцем?

Сергей Александрыч смутил Наташу своим слишком смелым взглядом и постоянно насмешливым выражением, а барышни, особенно деревенские, очень боятся насмешек. Сергей Александрыч никогда и ни о чем не говорил с ней серьезно, это оскорбляло ее самолюбие; он часто как-то странно посматривал на нее и пожимал ей руку с каким-то осо-

бенным выражением. Это пожиманье руки всегда производило неприятное впечатление на Наташу и заставляло ее краснеть. Наташа никак не подозревала, что она сама подала невольный повод братцу к этим странным пожатиям и взглядам. Дело в том, что Сергей Александрыч был вообще не слишком высокого мнения о женской добродетели и имел слабость (может быть, очень простительную) думать, что никакая женщина не в состоянии устоять против него. Эта мысль сильно укоренилась в нем – и он был даже искренно убежден в том, что и лоретка, с которою он жил в Париже, чувствовала привязанность собственно к нему, а не к его деньгам. Совершенно случайная встреча с Наташею в коридоре и вопросы ее о браслете в первый день приезда его к тетушке, истолкованные им не совсем по-родственному, подали ему повод слегка приволакиваться за нею, впрочем, вероятно, без цели, а так, для развлечения...

Любовь, которая начинала пробуждаться в Наташе к Григорию Алексеичу, ставила ее, впрочем, совершенно вне всякой опасности в отношении к Сергею Александрычу. Сближение Наташи с Григорьем Алексеичем делалось быстро. Григорий Алексеич был необыкновенно внимателен к ней. Он выбирал ей книги для чтения, иногда переводил для нее самые занимательные страницы, объяснял ей темные и непонятные для нее места и сам читал ей по вечерам Руссо, под влиянием которого находился в эту эпоху.

Олимпиада Игнатьевна, к удовольствию Наташи, была,

по-видимому, очень расположена к Григорью Алексеичу и нисколько не думала препятствовать ни этим чтениям, ни ее разговорам с ним, однако же не выпускала из виду и наблюдала за ней с материнскою внимательностию. Под руководством Григорья Алексеича Наташа оказала замечательные успехи во французском языке и скоро стала понимать французские книги без всякого затруднения. Взгляд ее, что нисколько не удивительно, постоянно становился яснее. Любовь просветляла ее мысли и облегчала ее понимание. Каждый день Григорий Алексеич открывал для нее что-нибудь новое. С каждым днем он незаметно способствовал ее развитию. Это были самые светлые, самые счастливые минуты в жизни Наташи. Григорий Алексеич блаженствовал, любуясь успехами своей ученицы.

Он не сомневался в том, что она любит его, и для этого, конечно, не нужно ему было иметь большой проницательности. Наташа так изменилась в короткое время, что даже строгий и смотревший на все с высшей точки зрения Петруша глубокомысленно заметил однажды, что «натура ее не такая дюжинная, как он думал прежде, что она начинает прозревать, вступает в момент сознания» и что-то еще в этом роде.

Даже и лицо Наташи приняло другой характер, более серьезный. Присутствие любви обнаружилось во всем существе ее. Такая перемена в Наташе не укрылась, между прочим, и от наблюдательности Олимпиады Игнатьевны...

Однажды Сергей Александрыч, лежавший на диване и ку-

ривший сигару, вдруг обратился к Григорью Алексеичу... В комнате никого не было.

– А что, ты влюблен в Наташу? признайся.

Этот неожиданный вопрос застал Григорья Алексеича врасплох.

– Что-о? – произнес протяжно Григорий Алексеич.

– Я говорю, что ты влюблен в Наташу, – продолжал Сергей Александрыч, потягиваясь на диване.

– Какой вздор! кто это тебе сказал? – Григорий Алексеич несколько принужденно засмеялся, схватил со стола какую-то книгу и начал перелистывать ее.

– Будто вздор? – продолжал Сергей Александрыч... – Отчего ж? В Наташу можно влюбиться, если еще чувствуешь в себе способность влюбляться! Она хорошенькая... У нее глаза недурны, рука хороша... За тебя отдадут Наташу с радостью, – и мне будет очень приятно иметь тебя родственником. Маменька ее серьезно уже поговаривает о том, что ее пора пристроить, и умильно поглядывает на тебя. Хочешь, я буду твоим сватом?

Григорий Алексеич швырнул на стол книгу, которую перелистывал, вскочил со стула и побледнел.

– Твои шутки совсем не остроумны... – произнес он сквозь зубы.

Сергей Александрыч внутренне улыбнулся.

– Если тебе не нравится мой разговор, я, пожалуй, замолчу... Но послушай... (Сергей Александрыч совершенно пе-

ременил тон и привстал на диване.) Наташа в самом деле девушка добрая, – но знаешь ли, я думаю, что ты, – разумеется нехотя, но делаешь ей много вреда. Ты насильно вырвешь ее из ее сферы, раздражишь ее воображение разными поэтическими бреднями, с трагическим ужасом укажешь ей на безобразие деревенской жизни, а потом преспокойно раскланяешься и уедешь в Петербург.

– Никогда! Никогда! – вскрикнул гордо Григорий Алексеич, вскочив со стула.

– Так, стало быть, ты хочешь на ней жениться? Григорий Алексеич болезненно вздрогнул при этом вопросе и в бессильном страдании опустился на стул.

– Ты вообще противоречишь себе, – продолжал Сергей Александрыч, – кричишь против идеализма, преследуешь романтиков, которые тебе везде мерещатся, даже и здесь, в селе Куроедове, которое в честь мою названо теперь Сергиевским, а сам вечно бродишь в идеалах; проповедуешь о необходимости ясного, практического взгляда на жизнь, а смотришь на нее бог знает как и хочешь переделать ее по нелепым фантазиям разных сумасбродов. По-моему, тот только понимает практическую жизнь, кто умеет пользоваться ею. Что за охота вечно страдать в настоящем, бесполезно мечтая о каком-то лучшем будущем? Ты на все смотришь мрачно, даже на Агафью Васильевну; тебя возмущает даже Васька – мой приказчик, потому что он кланяется мне до земли и не смеет мигнуть в моем присутствии... Все это, ко-

нечно, глупо и нелепо, но смешно и забавно. Все это существует, следовательно, должно существовать. И поверь мне, эта же самая Наташа, которую ты хочешь теперь возвышать, развивать и для которой, верно, скоро не будет на земле достойных идеалов, – без всякой церемонии вышла бы замуж за какого-нибудь толстого и глупого Федота Карпыча, рожала бы, как и все, каждый год детей, солила бы грибы, варила варенье, угощала бы гостей наливками своей стряпни, называла бы своего Федота Карпыча душкой, или Пульпультиком, как у Гоголя, или как-нибудь в новом роде и была бы в своем милом неведении очень довольна, спокойна и счастлива, – а может быть, Федот Карпыч в первые же месяцы после бракосочетания надоел бы ей и опротивел – и это могло бы очень случиться...

– Полно!.. – закричал Григорий Алексеич, – это несносно, ты имеешь дар осквернять все хорошее. В этом я не сомневался...

И с этими словами он вышел из комнаты.

Сергей Александрыч спокойно проводил его глазами, закурил другую сигару и, протянувшись с наслаждением на диване, подумал:

«Кажется, добрый и умный малый, а чудак!»



## Глава VII

После разговора Сергея Александрыча у Григория Алексеича пропал сон и аппетит, лицо осунулось, глаза впали – и он несколько дней одиноко и мрачно бродил в саду и в роще, стараясь избегать всех, и в особенности Наташи. «Я люблю ее, – думал он, – но чем же, в самом деле, должна кончиться эта любовь? – браком?» И при этом вопросе, который до разговора с Сергеем Александрычем не приходил ему в голову, дрожь пробежала по его телу... «Браком! – повторял он, – браком!» – в волнении взад и вперед прохаживаясь по аллее сада. Тихие, безмятежные картины брачной жизни, которыми некогда восхищался он, в эту минуту ему не являлись более. Напротив, как нарочно, вся прозаическая сторона этой жизни выступила перед ним во всей наготе: домашние хлопоты и тревоги, раздирающий уши крик детей, неизбежное охлаждение к жене, ее слезы и вздохи, его тоска и отчаяние и прочее. Григорий Алексеич был убежден, что безумно связывать себя вечным обетом, добровольно лишать себя свободы. «Но что же мне делать? – спрашивал он сам себя, – бежать отсюда? запереться в самом себе, обречь себя на одиночество и влачиться по свету без надежд и без цели! И куда бежать?» Мысль об одиночестве показалась ему еще страшней мысли о браке. «Нет, – подумал он, – я не создан для одинокой, эгоистической жизни, мне необходимо иметь воз-

ле себя существо любящее, близкое, родное по духу, с которым бы я делил и чувства, и мысли, и горе, и радости! К чему мне моя постылая свобода?»

И Григорий Алексеич, колеблемый этими мыслями, то решил объясниться с Наташей и ее матерью – и разом кончить все, то хотел уехать из Сергиевского. Иногда, минутами, казалось ему, что он вовсе не любит Наташу, что он просто увлекся ею, что между ними не существует настоящей симпатии, что в ней нет достаточной теплоты, что она больше все понимает головой, чем сердцем, – и мало ли чего не казалось ему? Несколько раз в день менял он свои мысли и взгляды и часто совсем упал духом в горьком сомнении и нерешительности.

В таком мрачном расположении духа забрел он однажды вечером (это было уже в половине июля) в самую отдаленную и заглохшую часть сада и, утомленный более мыслями, чем ходьбою, бросился на траву между кустами орешника, спускавшегося у самых ног его в глубокий овраг, на дне которого между камнями лениво пробивался ручей с глухим журчаньем. На другом берегу оврага была роща. Впереди и кругом Григорья Алексеича все было дико и мрачно. Сквозь плотную, густую массу зелени, окружавшую его, не мог проскользнуть луч солнечный. «Нет, – думал Григорий Алексеич, – нет, я напрасно обвиняю ее в неспособности любить: у нее глубокое, любящее сердце; чем более я наблюдаю ее, тем более вижу, что она может любить с увлечением, с стра-

стию...

Это широкая, избранная натура, которой доступно и понятно все... И я сомневался в ней! Какая глупость! Теплоты недостает не в ней, а во мне, – и Григорий Алексеич при этом бил себя в грудь... – Сердце мое с каждым днем черствеет более и более; никогда не испытав любви, я уже сознаю в себе неспособность любить так, как бы следовало, а бывают, впрочем, минуты, в которые мне еще кажется, что я могу любить со всем жаром и полнотою молодости; но это обман, ложь! я никогда не буду в состоянии удовлетворить ее любви, для чего же напрасно смущать ее покой? Я решительно не стою ее! Мне следует быть с ней как можно холоднее, как можно осторожнее. Но это опять глупость! я не выдержу... Нет, мне просто нельзя оставаться здесь ни одной минуты, я должен бежать отсюда куда-нибудь, все равно, только как можно далее; каждая минута замедления будет с моей стороны преступною слабостию...»

Но как будто это так легко?

Он задумался и через минуту произнес почти вслух:

– Кончено. Сегодня же еду! – и очень решительно побежал по тропинке.

Тропинка эта привела его на довольно открытое место. Тут он приостановился и вздохнул свободнее. Зеленые стены леса и его сумрак душили его, ему необходимы были в эту минуту свет и пространство.

«Я посмотрю в последний раз, – думал он, – на эти луга,

на Волгу; в последний раз, потому что я никогда уже не ворочусь сюда».

И, подумав это, Григорий Алексеич: пошел более покойным и ровным шагом.

Подходя к самому скату горы, с которой виднелась Волга, Григорий Алексеич вдруг вздрогнул и как бы прирос к земле.

В десяти шагах от него сидела на скамейке Наташа.

На ней было белое платье. Черные волосы ее локонами спускались до груди... Все вокруг нее и вся она облита была розовым отблеском догорающей вечерней зари. Воздух дышал благоуханною свежестью. Все было тихо, вершины деревьев чуть колебались. Григорий Алексеич долго стоял не шевелясь и едва переводя дыхание. Наташа была очень хороша. Он смотрел на нее долго и благоговейно и потом робко подошел к ней.

Наташа обернулась, когда он стоял в двух шагах от нее.

– Ах, это вы! – сказала она.

Григорий Алексеич молчал, опустив голову на грудь.

– Какой прекрасный вечер, – заметила Наташа. – А где вы были? Верно, в роще?

– Да, в роще... нет, впрочем, я ходил в саду, – отвечал Григорий Алексеич, – а вы давно здесь сидите?

– Это моя любимая скамейка, – сказала Наташа, – я здесь часто сижу. Отсюда чудный вид.

– В самом деле, хороший вид. Мне это место также нра-

вится... но я, может быть, помешал вам... может быть, вы хотите быть одни?

– Нисколько, – отвечала Наташа.

– Так вы мне позволите сесть возле вас?

– Садитесь.

Григорий Алексеич сел на скамейку. Они несколько минут молчали.

– Вам, верно, надоела деревня? – сказала первая Наташа, – вы не привыкли к ней – вы день ото дня становитесь скучнее.

– Вы замечаете это? – возразил Григорий Алексеич.

– Да. Что ж, это вам кажется странным? И не я одна, и другие замечают это.

– Что мне за дело до других?

Наташа посмотрела на него с недоумением.

– Скажите, отчего вы так посмотрели на меня? – спросил Григорий Алексеич.

– Так... – Наташа несколько смешалась. – Ну, признайтесь, ведь вам скучно здесь?

– А отчего же вы думаете, что в другом месте мне было бы веселее? Напротив, я люблю деревню. Деревенская жизнь для меня не так чужда, как вы думаете, потому что я постоянно до девятнадцати лет жил в деревне. Здесь мне и весело и грустно... Но мне иногда кажется, что нет человека в мире счастливее меня, иногда я думаю, что я самый несчастный из людей...

Григорий Алексеич сам не знал, что говорил, он оторвал ветку от куста и бросил ее. Он хотел еще что-то сказать – и остановился.

Сердце Наташи замерло. Она предчувствовала что-то необыкновенное.

– Послушайте, – сказал Григорий Алексеич, – мне давно хотелось говорить с вами; вы простите меня, если я говорю нескладно... У меня нет более сил скрывать от вас... Рано или поздно вы бы должны были узнать это...

Григорий Алексеич вдруг схватил руку Наташи. У Наташи потемнело в глазах, рука ее задрожала...

– Выслушайте меня – пожалуйста... я должен сказать вам – я люблю вас...

Легкий, едва слышный звук вырвался из груди Наташи, и слезы потоком хлынули из ее глаз.

– Я еще никого не любил в жизни... я люблю в первый раз, – продолжал он с возрастающим жаром и смелостью, – еще за полчаса перед этим я упрекал себя в холодности и неспособности любить, мне казалось... но теперь мне ясно, я не понимал самого себя, теперь я чувствую, как горячо и сильно я люблю... без вас для меня нет ничего в жизни.

Наташа сидела недвижно. Слезы крупными каплями продолжали падать на ее грудь.

Она не верила тому, что слышала; до сей минуты ей казалось почти невозможным, чтобы он мог полюбить ее, – он, по ее мнению, достойный любви первой, лучшей женщины

в мире!

– Скажите же мне что-нибудь... взгляните на меня!.. Наташа подняла голову, улыбнулась сквозь слезы и пожала его руку...

– Только одно слово! – повторял Григорий Алексеич.

Наташа хотела сказать это слово, но разгоревшееся лицо ее вдруг побледнело.

В эту минуту ей послышался шорох в густых кустах сзади скамейки...

## Глава VIII

Часа через два после этого Олимпиада Игнатьевна, Наташа, Петруша, Григорий Алексеич и Сергей Александрыч сидели все вместе в гостиной в ожидании ужина. Наташа была несколько рассеяннее обыкновенного и как-то все невпопад отвечала на вопросы Сергея Александрыча. Григорий Алексеич, напротив, был в самом приятном и веселом расположении духа и даже очень одобрительно улыбался, слушая Петрушу, декламировавшего ему свои новые стихи.

Олимпиада Игнатьевна раскладывала гранпасьянс, вздыхала, охала и изредка поглядывала на дочь с заботливым беспокойством... Месяц прямо смотрел в широкое окно, обливая комнату своим бледным светом и бросая длинные и серебряные полосы на пол. От времени до времени слышался в комнате доносившийся издалека однообразный и мерный стук ночного сторожа.

Олимпиада Игнатьевна оставила карты и обратилась к дочери.

– Что с тобой, Наташа, что ты, нездорова, что ли?

И она приложила руку к ее голове.

– У тебя в лице нет кровинки, а голова такая горячая!.. За тобой надо смотреть, как за ребенком. По вечерам теперь сырость такая, а ты ходишь в саду в одном тоненьком платьице. Того и гляди, схватишь лихорадку.



– Я ничего, – отвечала Наташа, – у меня так только, немного болит голова. Это пройдет.

– То-то пройдет, – ворчала Олимпиада Игнатъевна. – Поди-ка ты спать, напейся на ночь малины да закутайся хорошенько; это будет лучше.

Наташа в ту же минуту встала и подошла к маменькиной ручке. Олимпиада Игнатъевна перекрестила ее и поцеловала в лоб.

Сергей Александрыч посмотрел на Наташу с улыбкою и пожал ей руку. Григорий Алексеич молча поклонился ей; и когда она вышла, Петруша отправился вслед за нею.

– Я провожу тебя до твоей комнаты, – сказал он ей.

– Спасибо. Зачем же? Я могу дойти и одна, – отвечала Наташа.

– Мне хочется поговорить с тобою, сестра, – произнес Петруша таинственно.

– О чем? – спросила Наташа, вздрагивая, – пожалуй, когда-нибудь после, только не теперь, Я в самом деле не очень здорова.

Петруша нахмурился.

– Послушай, Наташа... – голос Петруши делался все таинственнее, – никогда еще я не чувствовал в себе такой сильной потребности говорить с тобой. Теперь я, может быть, выскажу тебе то, что другой раз мне не удастся высказать. Ты знаешь, что у меня минуты откровения не часты.

Наташа ничего не отвечала.

Войдя в свою комнату, она обратилась к Петруше, который все следовал за нею:

– Тебя, верно, братец, ждут ужинать.

– Я не хочу ужинать, – отвечал Петруша, располагаясь на диване.

– А маменька-то? Она будет беспокоиться... ты ведь знаешь ее... ей бог знает что придет в голову... Она подумает, что и ты нездоров.

– Оставь ее; пусть думает себе, что хочет...

– Поди скажи, чтобы меня не ждали ужинать, – сказал он, обращаясь к горничной, которая ставила на стол свечу.

Когда горничная ушла, Петруша подошел к Наташе, с чувством посмотрел на нее и крепко пожал ее руку.

– Я понимаю тебя, Наташа, – произнес он значительно, – от меня ты не должна ничего скрывать... Верь мне, я могу быть твоим другом; ты можешь смело высказать мне все, что лежит у тебя на сердце... тебе известен мой образ мыслей.

– Что такое? что ты хочешь сказать? – спросила Наташа.

– Неужели ты думаешь, – продолжал Петруша, – что от меня могла ускользнуть перемена, которая произошла в тебе с некоторого времени? Неужели ты воображаешь, что я не понимаю сердца женщины? От меня ты не утаишь ничего. Не бойся. Я, может быть, объясню тебе многое, что еще ты сама не ясно сознаешь в себе... Послушай, Наташа, я еще до сих пор в жизни не встречал женщины, родственной мне по духу, и, может быть, никогда не встречу. Что ожидает меня в

будущем? Капля радостей и море страданий! У меня натура артистическая, субъективная, а такого рода натуры не могут быть счастливы в настоящем обществе! Они находят удовлетворение только в самих себе... Знаешь ли ты, что возможность любви, горячей, беспредельной, лежит у меня здесь в зародыше?

Петруша ударил себя в грудь.

– Много чувств и мыслей безвыходно замкнуты в этой груди. Меня считают сухим и холодным. Наружность моя, точно, такова, но наружность обманчива, сестра... Внутренний огонь пожирает меня! Родись я не здесь, среди этого пошлого, бессмысленного, апатического общества, я мог бы сделать многое, я не бесполезно прошел бы жизненное поприще; но здесь, сестра, здесь нет пищи для моей деятельности! Кому здесь понять меня? В глазах старого, отжившего поколения я не более как сумасбродный мальчишка, нахватавший самых вредных идей; но меня не понимают многие и из молодого поколения, и те, которые считают себя развитыми, которые трактуют о современных вопросах. А это нестерпимо. Например, Сергей Александрыч, – он обращается со мной совершенно как с ребенком и глядит на меня с высоты величия. Он воображает, что стоит наряду с веком, потому что был в Париже и в Лондоне, а между тем это человек отсталый; у него душа дряблая, старческая, неспособная сочувствовать, и какой пошлый взгляд на жизнь! Искусство, поэзия для него не существуют, тонкие поэтические черты

для него решительно неуловимы...

Петруша вскочил со стула и начал прохаживаться по комнате.

Наташа, заметно встревоженная началом разговора Петруши, почти не слыхала последних слов его. Мысли ее заняты были совершенно другим.

Петруша остановился перед нею.

– Знаешь ли, – продолжал он, – если кто-нибудь немного может понимать меня, так это разве Григорий Алексеич... по крайней мере мне так кажется.

Наташа не приобрела еще искусства владеть собою. Лицо ее вдруг изменилось при этом имени, и она с любопытством взглянула на брата.

– У Григорья Алексеича сердце теплое: поэтическая сторона жизни доступна ему, но, кажется, и в нем начинает остывать юношеский пыл, энергия убеждения, и он начинает расходиться с новым поколением. А это жаль, очень жаль! Он тоже воображает, что знание жизни приобретается только одним опытом... старческая, пошлая мысль!.. но я все-таки уважаю этого человека и всегда охотно протягиваю ему руку. В нем есть хорошие стороны. Это один из немногих людей, которые в случае нужды могут быть полезны... Ах, жизнь, жизнь!.. не многим дается ее светлое понимание... Да!.. а люди не легко и не вдруг познаются!.. А я, однако, с первого раза умел оценить Григория Алексеича... Ему я даже обязан тем, что узнал тебя.

– Как это? – спросила Наташа.

– Без него я не подозревал бы того, что ты способна к развитию, к восприятию высших идей. С тех пор как он здесь, ты сделала огромный шаг. Ты многим обязана Григорию Алексеичу.

Петруша взял снова руку сестры и еще крепче прежнего пожал ее.

– Ты любишь его, Наташа! признайся мне. Я вижу все – и должен сказать тебе... эта любовь радует меня, потому... потому что она совершенно разумна.

Наташа молчала. Она не могла произнести ни одного слова, если бы и хотела отвечать на вопрос Петруши. Грудь ее тяжело и неровно дышала, а сердце болезненно билось.

– Признайся мне как другу, как духовному брату, – говорил неотвязчивый Петруша с экстазом, – о, я свято сохраню твою тайну, я не оскорблю деликатность твоего чувства; я не захочу нагло ворваться в святилище твоего сердца для того, чтобы напрасно возмущать его... Ты любишь Григорья Алексеича? скажи мне.

– Да, да, – прошептала Наташа, задыхаясь и закрывая лицо руками...

Долго оставалась она в таком положении. Петруша смотрел на нее, скрестив руки на груди и усиливаясь как можно более придать значения и важности своей физиономии, и когда Наташа открыла лицо и решила взглянуть на брата, он обнял ее и потом как-то вдохновенно начал поводить

глазами.

– С этой минуты я твой, сестра, – произнес он дрожащим голосом, – в эту минуту мы породнились с тобой духовно. Располагай мной... Если матушка, почему бы то ни было, вздумает препятствовать вашему соединению или станет притеснять тебя, она в одно время лишится и сына и дочери!.. Это будет для нее нравственной казнью; никто, может быть, не подозревает здесь, на что я способен в крайних случаях!.. Нам надо действовать смело, прямо... О, как весело вступать в открытую борьбу с предрассудками и невежеством! Сердце замирает от восторга при этой мысли.

Петруша продолжал говорить о Григорье Алексеиче, о маменьке, о будущей участи человечества, об освобождении женщины, о мировой любви, о самом себе и о своих стихотворениях.

Когда он все высказал, простился с сестрою и уже отворил дверь, чтобы выйти из ее комнаты, Наташа бросилась к нему и остановила его на минуту.

– Послушай, братец, – произнесла она, крепко и судорожно сжимая его руку, – то, что я сказала тебе, останется между нами... бога ради! Я прошу тебя...

– И ты еще можешь сомневаться во мне, – перебил Петруша оскорбленным тоном, – после всего, что я говорил тебе? Я открыл тебе всю мою душу, все мои верования и убеждения. Стало быть, ты не поняла меня?

– О нет, нет! – вскрикнула Наташа со слезами на глазах, –

прости меня... я уверена в тебе...

Дня через три после этого Петруша написал стихи к Наташе, в которых он подтверждал между прочим, что «в его груди, как в могиле, навеки замрет ее святая тайна». Но он не выдержал и прочел эти стихи Сергею Александрычу. Сергей Александрыч похвалил их; Петруша смягчился и, разнеженный этою похвалою, внутренне примирился с ним на эту минуту и, сам не чувствуя как, передал ему от слова до слова весь разговор свой с Наташей.

Между тем слухи о любви Наташи к Григорью Алексеичу с различными прибавлениями и преувеличениями распространялись быстро в родственном кругу и, переходя из уезда в уезд, сделались самою интересною новостью в губернии и для посторонних.

Толки эти были очень забавны и разнообразны. И кому бы пришло в голову, что первая, пустившая эти толки, одушевившие всю губернию, была Стешка, горничная Агафьи Васильевны? Агафья Васильевна, нередко посещавшая Сергиевское, с каждым приездом своим убеждалась, что на сбыт Любаши плоха надежда, что Григорий Алексеич, «не соблюдая никакого приличия и благопристойности, так и подлипает к Наташе», и заключила из этого, что он должен быть самый беспутный человек. Агафья Васильевна затаила злобу свою до времени и начала наблюдать за ними исподтишка посредством своих агентов. Стешка через Петровича передавала ей все, что Делалось в Сергиевском.

Петрович, в угоду Стешке и отчасти по собственной наклонности, исполнял ревностным и добросовестным образом должность шпиона. Рука, раздвигавшая ветви кустарника в саду в минуту объяснения Григорья Алексеича с Наташей, принадлежала Петровичу, и на другой же день все виденное и слышанное им он передал Стешке, которая, в свою очередь, сейчас же, как следует, донесла об этом своей бабыне.

– А! так вот как! – вскрикнула в бешеном торжестве Агафья Васильевна, – вот оно что! Сама на шею бросается к нему!.. сама обнимает его! Она бесчестит собою всю нашу фамилию, всю нашу губернию! Да уж полно, дворянская ли кровь течет в ней?.. Уж не согрешила ли Олимпиада-то Игнатьевна?

Агафья Васильевна дала полную волю языку и начала везде трезвонить о Наташе и о Григорье Алексеиче.

Но грозные тучи клевет и сплетней, скоплавшиеся на губернском горизонте, еще не разразились над Сергиевским. Там было еще все ясно и безмятежно. Олимпиада Игнатьевна хорошо понимала, что делалось кругом ее, и часто с большим любопытством расспрашивала своего племянника о Григорье Алексеиче. Ей было неприятно только одно – почему Григорий Алексеич не служит.

– Как же он не заботится о своей карьере? – спрашивала она, – разве он имеет такое обеспеченное состояние?.. Вот вы, батюшка, – прибавляла она, – это другое дело. Вас бог



благословил... У вас полторы тысячи душ крестьян. Слава богу, вам не о чем заботиться. Ну, а молодому человеку, не богатому, грешно не думать о службе и праздно проводить время.

Сергей Александрович старался объяснить тетушке, что Григорий Алексеич проводит время не совсем праздно, что он много читает, занимается литературой, пишет статьи для журналов; но тетушка сомнительно и недовольно покачивала головой и говорила:

– Воля ваша, что же это за занятия такие? Ведь это он делает для своего удовольствия... Ведь это все же не то, что коронная служба... Ведь за эти занятия он не получит ни чина, ни награды, ни какого профита.

Глядя на дочь свою и на Григория Алексеича, когда они сидели вместе, старушка иногда думала:

«Господи! буди воля твоя!»

Случалось также, что, глядя на них, она думала: «Как бы это узнать достоверно, есть ли у него состояние, обеспечен ли он?» – потому что Сергей Александрович не дал ей положительного ответа на этот вопрос. С Наташей при Григорье Алексеиче она обращалась гораздо нежнее и ласковее обыкновенного и часто говорила ему в ее присутствии:

– Как я благодарна вам, батюшка, за то, что вы занимаетесь с ней, читаете ей, толкуете, учите ее.

Но наедине с дочерью Олимпиада Игнатьевна давала ей другого рода наставления.

– Ты, пожалуйста, Наташа, – говорила она, – не очень слушай то, что тебе рассказывает и нашептывает Григорий Алексеич, не верь всему, что там написано, в этих книгах, которые он тебе читает.

## Глава IX

А вот что Григорий Алексеич нашептывал Наташе:

– Если бы вы знали, как я теперь счастлив! А была минута, когда я хотел бежать отсюда, бежать от вас...

– Зачем же бежать? – перебила Наташа с недоумением.

– Я сомневался во всех и во всем – я сомневался в самом себе, я сомневался в вас. Я думал, что вы не любите меня.

– Неужели вы думали это? – спросила Наташа, – я могла думать, я... но это совсем другое. И до сих пор... Скажите мне, бога ради, за что вы меня любите?.. Я и до сих пор не понимаю этого!

– Вы не знаете самое себя, – говорил Григорий Алексеич, с восторгом смотря на нее, – за что? вы дали смысл и содержание моей жизни. Ваш взгляд, ваше слово, одно присутствие ваше разливает святое чувство в груди моей. Вы еще не знаете, насколько вы выше этих людей, среди которых родились и живете. Посмотрите хорошенько вокруг себя, на самых близких родных своих, на их образ жизни, на их дикие, нелепые предрассудки. Есть ли у вас что-нибудь общее с ними? Вы, верно, оставите их без сожаления?

– Если мне придется когда-нибудь оставить их, – отвечала она, – я, конечно, не буду жалеть никого, кроме маменьки...

– Я понимаю, что вы привязаны к ней по привычке; но послушайте, я должен прямо сказать вам все, я должен быть

откровенен с вами: вы не можете любить ее искренно, и если думаете, что ее любите, – вы обманываете самое себя.

– Что это вы говорите? – с ужасом сказала Наташа. – Она – моя мать! Я знаю, что у нее доброе сердце и она очень любит меня. Как же мне не любить ее?

– Да, она любит вас до той минуты, покуда вы молчаливо и безусловно будете во всем покоряться ее требованиям, но если вы хоть раз вздумаете обнаружить перед ней собственную волю, которая будет противоречить ее воле, тогда эта любящая мать с добрым сердцем явится перед вами в настоящем свете... Она без жалости подавит вас своею материнскою властью, она не позволит вамдохнуть свободно, прикинется еще вдобавок притесненною, будет стонать, охать и всем жаловаться на вас. И никто не примет вашу сторону, все будут за нее... Между ею и вами не может существовать никакой откровенности, никакой симпатии. Вы должны, напротив, скрываться от нее, казаться перед ней не тем, чем вы есть, приносить ей ежеминутные жертвы и для собственного спокойствия поступать по ее желанию против своих убеждений, против своей совести...

– О нет, – прервала Наташа, – ни за что на свете; теперь я чувствую, что никто не в состоянии заставить меня сделать что-нибудь против моих убеждений.

– Но знаете ли вы, – продолжал он, – может быть, минута испытания уже близка для вас. Я беден, я почти ничего не имею; ваша матушка не подозревает этого, она, верно, дума-

ет, что у меня есть какое-нибудь состояние, и только потому так благосклонно обращается со мною, – но я должен буду открыть ей все, вывести ее из заблуждения, и тогда...

– Вы слишком дурно думаете об ней. Вы не знаете ее. Она не захочет препятствовать моему счастью. Я скажу ей, что я люблю вас, что я никого никогда не буду любить, кроме вас.

– Вы слишком чисты душою, слишком неопытны; но если мои подозрения оправдаются – тогда что?

– Тогда... – Наташа задумалась. Григорий Алексеич впился в нее своими глазами... «А! она колеблется», – мрачно подумал он.

– Тогда, – сказала Наташа голосом спокойным и твердым, – тогда у меня не останется никого, кроме вас.

Григорий Алексеич при этих словах стал перед Наташею на колени и начал жарко целовать ее руки в безумном упоении.

– Бога ради, что вы делаете? – произнесла Наташа, которая, несмотря на волнение, сохранила присутствие духа, – вы забыли, где мы; вас могут увидеть...

Григорий Алексеич поднялся медленно, отвел рукою длинные свои волосы, которые упали ему на лицо, взглянул на Наташу млеющими глазами и прошептал:

– Да, я совсем забыл... простите меня, я не помню, что делаю; я так счастлив!

Он снова сел возле нее и несколько минут жадно вдыхал в себя вечерний воздух.

– Мы не останемся здесь, – продолжал он, успокоиваясь, разнеживаясь и как будто мечтая вслух, – мы уедем отсюда, мы поселимся в Петербурге, устроим маленькое хозяйство, будем допускать к себе только немногих избранных друзей. Я буду трудиться, и как легок и приятен мне будет всякий труд! Мысль, что я тружусь не для себя только, а для существа родного, близкого мне, – эта мысль будет одушевлять и вдохновлять меня... До сей минуты деятельность моя была в усыплении, потому что я не имел цели в жизни, потому что кругом меня было все бесприветно и пусто. До сих пор я бродил во мраке и ощупью, я воображал себя мудрецом, а между тем был глуп, как ребенок. Только теперь я начинаю понимать и видеть все ясно; только теперь я чувствую в себе настоящую силу и желание деятельности. Человек, никогда не любивший, хотя бы прожил сто лет, не имеет права сказать, что он жил!

Григорий Алексеич говорил долго, Наташа слушала его с восторгом, и в воображении ее уже разворачивалась картина прекрасного будущего. Для Наташи каждое его слово дышало святой, непреложной истиной. Она смотрела на него с полною верой.

Но Григорий Алексеич не мог долго оставаться в таком безмятежном и блаженном состоянии духа. Одно обстоятельство, совершенно, впрочем, ничтожное, вдруг нарушило внутреннюю его гармонию.

Он лежал после обеда на диване в своей комнате и мечтал.

Мечты его мало-помалу начинали спутываться и принимать неопределенные и туманные образы, глаза закрывались, и он готов уже был совсем заснуть, как вдруг кто-то сильно и выразительно крикнул над самою его головою.

Григорий Алексеич открыл глаза и с досадою обернулся назад.

На пороге двери стоял Петрович с свойственным ему глубокомысленным видом.

– Что тебе надо? – спросил Григорий Алексеич.

– Да, признаться, надо-то мне Сергея Александрыча, – отвечал Петрович, заглядывая в комнату.

– Его нет здесь.

– То-то нет, я и вижу, что нет. Да где же бы они это могли быть?

– Не знаю.

– Гм! Надо пойти отыскивать их. Барыня их спрашивает зачем-то...

– Поди отыскивай... Мне что за дело.

Но Петрович не двигался с места.

– Ну, что ж тебе?

– Эх, батюшка Григорий Алексеич, – проговорил Петрович, вздыхая, – то ишь, как я вас люблю... верите ли богу... я много произошел в своей жизни и много господ видал на своем веку... Вот и Василий Васильич Бочкаревский, знаете его? уж на что барин, – да нет, куда до вас, далеко! Все не то. Этакая счастливица наша барышня, в сорочке, видно,

родилась, ей-богу!

– Это что значит? – сказал Григорий Алексеич, вскакивая с дивана.

Петрович немного смутился.

– Вы простите меня, Григорий Алексеич, то ись, может статья, я и глупое слово сказал, оно, может, вам и неприятно, что я примешал ваши сердечные чувства, но ведь шила в мешке не утаишь, батюшка, ей-богу. Мы, то ись все, не иначе понимаем вас, как женихом Натальи Николавны, и радуемся этому! Ежеминутно, так сказать, бога благодарим...

Григорий Алексеич кусал губы от нетерпения и досады.

– И сама барышня, – продолжал Петрович, – ономясь приходит в девичью... и я тут случился, знаете... и говорит: ну, девушки, говорит, будет вам работа... приданое, говорит, мне шить...

– Она сказала это? – вскрикнул Григорий Алексеич, бледнея и дрожа всем телом. – Ты лжешь!..

– Чего же вы, батюшка, гневаетесь-то? Убей меня бог. Вот тут и Палагея была, и Аннушка, и Матрена, всё живые люди. Спросите у них, коли мне не верите.

Петрович клялся и божился, но Григорий Алексеич не слышал уже ничего и не видал.

У Григорья Алексеича помутилось в глазах; он в отчаянье бросился на диван, потом вскочил и начал бегать из угла в угол, бормоча сквозь зубы несвязные и отрывистые фразы:

– Прекрасно!.. приданое... девкам поверять свои тайны...



это в духе деревенской барышни!.. Как это мило!

Наташа вдруг потеряла для него свое высокое значение и превратилась в пустую, ничтожную девочку.

«И я допустил себя так глупо увлечься ею! – думал он, – и я мог вообразить, что она оторвалась от грязной и гадкой действительности, в которой родилась и выросла! Это сумасбродство, нелепость! Сергей Александрыч прав; он ничем не увлекается; он смотрит на вещи просто, положительно, и потому у него взгляд бывает часто яснее и вернее моего. И может ли она любить, может ли она понимать любовь в ее святом, в ее высоком значении, когда она уж теперь начинает хлопотать о приданом и рассуждает об этом со своими девками? Ей просто хочется выйти замуж, женихов нет, а я, дурак, тут кстати подвернулся, – она и расплылась передо мною и начала сентиментальничать...»

Григорий Алексеич целый вечер дулся, не говорил с Наташей ни слова и едва отвечал на ее вопросы. Ночь провел он беспокойно, проснулся ранее обыкновенного и оделся наскоро, чтобы идти гулять. Он боялся встретить кого-нибудь, особенно Сергея Александрыча, потому что чувствовал потребность быть один, потому что не хотел, чтобы кто-нибудь заметил его страдания. Григорий Алексеич вышел на крыльцо. Утро было теплое, небо было подернуто тонкими и бледными облаками. Роса крупными матовыми каплями лежала на листках бузиновых кустов, разросшихся на дворе у самого дома; луг перед домом только что был скошен, и воздух на-

питан запахом травы... На крыльце, прислонясь к колонне, стояла Наташа; глаза ее были красны, и веки распухли.

Григорий Алексеич увидел ее и хотел вернуться назад, но уже было поздно. Наташа обернулась к нему. Григорий Алексеич сухо поклонился ей, остановился в раздумье и не знал, что делать. Встреча была с обеих сторон неожиданна. Ни Григорий Алексеич, ни Наташа несколько минут не знали, что сказать друг другу.

– Какое прекрасное утро, – произнесла наконец Наташа в замешательстве.

– Да, – отвечал Григорий Алексеич рассеянно и не глядя на нее.

– Отчего вы так рано встали сегодня? – спросила она.

Григорий Алексеич не отвечал ни слова. Наташа повторила свой вопрос.

– И вы, кажется, встали сегодня раньше обыкновенного? – сказал он раздражительно. – Я, признаюсь, не ожидал вас встретить здесь.... Вы, верно, чем-нибудь озабочены, какими-нибудь хлопотами по хозяйству?... Это делает вам честь. Заниматься хозяйством очень полезно, полезнее даже, чем читать.

– Что это значит? Что это за тон? – спросила она. – Объясните мне, что это значит? Вы так изменились со вчерашнего дня. Я не понимаю вас...

– Вы меня не понимаете?... – возразил Григорий Алексеич с ядовитой улыбкою, – может быть!

Но в эту минуту он взглянул на Наташу. Ее расстроенный вид, ее распухшие от слез глаза, ее бледность – все это вдруг поразило его.

«Какое же, однако, я имею право оскорблять ее?.. – подумал он. – К тому же верить словам глупого лакея... Может быть, все это было не так. Он переврал». Григорий Алексеич вдруг бросился к Наташе с чувством.

– Простите меня, – сказал он, – не слушайте меня, я сам не знаю, что говорю! я болен. – И он в отчаянии судорожно ломал свои руки, как нервическая женщина.

– Что с вами? – спросила она, взяв его руку и глядя на него с участием.

Григорий Алексеич не только успокоился совершенно, но ему показалось, что в ее невольном движении выразилась вся сила, вся беспредельность ее любви к нему.

Весь этот и следующий день он был необыкновенно доволен и весел. Может быть, довольствие это продолжалось бы и долее, если бы не Петруша. Петруша давно искал удобного случая сблизиться с Григорьем Алексеичем и серьезно поговорить с ним о Наташе, о самом себе и о человечестве, которое сильно его тревожило. И когда случай этот, по мнению Петруши, представился, – он передал весь разговор свой с сестрою.

– Так она вам призналась, что любит меня? вам? – возразил Григорий Алексеич, выслушав его и с некоторою злостью измеряя его с ног до головы.

– Да, – отвечал Петруша гордо и торжественно.

– В самом деле?

Григорий Алексеич улыбнулся презрительно.

– Впрочем, – продолжал Петруша, – впрочем, и без признания Наташи я знал и видел всё... ваша и ее тайна была давно угадана мною. Я понял вас с первой минуты вашего приезда сюда. На меня вы можете положиться.

Григорий Алексеич принужденно захохотал.

– Благодарю вас: поверьте, мне очень лестно быть поняту вами, – только я не советую вам слишком полагаться на вашу проницательность. Она легко может обмануть вас, молодой человек!

Петруша побледнел, закусил губу и отстал от него.

Григорий Алексеич проводил Петрушу глазами и ударил себя в лоб.

«Я глупец, совершенный глупец! – подумал он. – Неужели я целый век буду жить фантазиями? После всего, что мне наговорил этот мальчишка, после всего этого можно ли, наконец, сомневаться в том, что такое эта Наташа?.. нет, нет! Пора мне отрезвиться от этой любви, выкинуть этот вздор из головы – все это пошлые остатки глупого романтизма!»

С каждым днем Григорий Алексеич все более и более впадал в разлад с самим собою и беспрестанно изменяя свое обращение с бедною Наташей. Иногда казалось ему, что Сергей Александрыч смеется над его любовью и смотрит на него с сожалением, иногда он был убежден в том, что ему расста-

вили сети, что его ловят, что Сергей Александрыч вместе со всеми своими родственниками в заговоре против него и что его хотят заставить жениться на Наташе.

Наташа решительно не понимала, что делается с Григорьем Алексеичем. Все в нем последнее время было для нее необъяснимой загадкой. Беспокойство ее возрастало с каждым днем. Но обстоятельство, никем не предвиденное, вдруг вывело ее из ее неопределенного положения,

## Глава X

К числу почетнейших помещиков той губернии, в которой находится село Сергиевское, принадлежит Захар Михайлыч Рулёв. Он имеет генеральский чин и 600 незаложенных душ. Окончив с честью свое служебное поприще, украсив грудь свою орденами и получив генеральский чин при отставке, Захар Михайлович поселился в своей деревне. Ему было тогда 59 лет. Он среднего роста, волосы у него седые, глаза светло – карие, лицо круглое, нос широкий, губы толстые, особых примет никаких. Захар Михайлыч человек прямой, положительный, деятельный и никогда не заискивавший ничьего покровительства. Для Захара Михайлыча все в жизни ясно и просто, как дважды два четыре.

Сельцо Красное, резиденция Захара Михайлыча, отличается необыкновенным порядком и устройством. При въезде в деревню, у околицы, вместо обыкновенного, полусгнившего и почерневшего сруба, крытого соломой, провалившейся внутрь, – каменная караульня, крытая железом. По обеим сторонам вдоль прямой и широкой улицы вытянутые в струнку крестьянские избы. В середине господская усадьба: одноэтажный каменный выбеленный дом, несколько похожий на казарму, и с обеих сторон в виде полукруга флигеля, также выбеленные, а на площадке перед домом небольшая каменная часовенка, около которой симметрически посаже-

но несколько липок, подпертых палками. На каждом флигеле надписи: больница, контора, ткацкие и проч. Площадка всегда начисто подметена и усыпана желтым песком. Сельцо Красное более походит на военное поселение, чем на деревню.

Все крестьяне Захара Михайлыча ходят также по струнке. Он сам постоянно наблюдает за всеми работами и ежедневно прохаживается по своим владениям с толстою сучковатою палкою в руке, которая, как и сам он, не остается в бездействии.

Захар Михайлыч строг, но это не мешает красносельцам любить его и называть добрым барином.

И у Захара Михайлыча, точно, доброе сердце. Когда дело спорится и крестьяне его работают охотно, дружно, он с любовью смотрит на них, опираясь на свою палку, и маленькие глазки его прыгают от удовольствия.

– Ай да ребята! – покрикивает он, – молодцы... – Захар Михайлыч часто употребляет поговорку, без которой коренной русский человек обойтись никак не может. Поговорка эта имеет необыкновенное свойство одушевлять и поощрять крестьян к труду. Работа, ободряемая барским словом, закипает еще дружнее и веселее, и сам Захар Михайлыч иногда, расходившись, сбрасывает с себя сюртук и начинает подмогать своим подданным, да так, что пот дождем каплет с его барского чела... Дворня в сельце Красном многочисленна, как и во всех наших деревнях, но зато у Захара Михайлыча и

из дворовых никто не сидит без дела. Тунеядцам нет места в сельце его. Он не гнушается надсматривать и за детьми и за бабами, чтобы и они не проводили время в праздности. Он никогда не выходит из дома без цели и решительно не понимает, что такое прогулка для удовольствия. Красоты природы не существуют для него; он даже питает просто что-то враждебное к живописным местоположениям.

До чтенья Захар Михайлыч не охотник, он читает мало, и то разве, когда бывает болен (что случается с ним очень редко), и ему все равно, что ни читать.

В обращении своем он прост, охотно протягивает руку всем, и равным себе и низшим, и со всеми говорит одинаковым голосом и тоном, несмотря на свое генеральство. Это, впрочем, не нравится никому – и про него говорят, что он не имеет никакого обращения и достоинства и не умеет вести себя соответственно своему званию.

Мужчины в губернии вообще его не слишком жалуют, потому что он любит резать правду в глаза, не соблюдая никаких приличий, и более всех кричит и горячится на выборах; но зато дамы (и преимущественно маменьки) чрезвычайно расположены к нему...

Захар Михайлыч, как близкий сосед, часто посещал село Сергиевское. Он был очень доволен приездом Сергея Александрыча, потому что в свободное от хозяйственных занятий время любил поболтать с хорошим человеком о суете мирской. Захар Михайлыч вообще сходилась с людьми скоро,



потому что не углублялся в разбор их внутренних качеств. Люди в понятии его разделялись на добрых и злых, на честных и бесчестных: других разделений он не признавал и не слишком уважал ум и образованность.

Фамильярное обращение Захара Михайлыча сначала не нравилось Сергею Александрычу, но потом он примирился с этим.

Григорий же Алексеич просто не терпел Захара Михайлыча.

– Несноснее этого человека я ничего вообразить не могу, – говорил он Сергею Александрычу, – я решительно не пустил бы его на порог дома: болтает без умолку, надоедает глупыми вопросами, пошлая, самодовольная рожа...

День за днем уходил быстро, наступила осень. Поправка дома Олимпиады Игнатъевны пришла к окончанию. Начались приготовления к переезду. Наташе тяжело было оставлять Сергиевское. Накануне переезда она в последний раз обошла весь сад, прощаясь с ним. Дорожки были устланы желтыми листьями; георгины, которыми она любовалась за три дня перед этим, поблекли и почернели от мороза. Наташе было грустно, и она долго сидела и плакала на той поляне, где Григорий Алексеич в первый раз признался ей в любви.

Сергей Александрыч, располагавший возвратиться осенью в Петербург, должен был остаться в своей деревне на неопределенное время. Он от нечего делать занимался охотой и метал банк двум соседям-помещикам, которые почти

поселились у него. Григорий Алексеич ездил в село Брюхатово сначала довольно часто, но с каждым разом возвращался оттуда все более и более в мрачном расположении духа. Он уже не мог говорить с Наташей наедине так свободно, как в Сергиевском.

Олимпиада Игнатъевна обращалась с ним уже несравненно холоднее и начинала находить в нем большие недостатки. Все это произошло, между прочим, оттого, что Петруша, оскорбленный Григорьем Алексеичем, отзывался о нем с невыгодной стороны. Петруша даже наушничал маменьке на сестру. Он знал, что играет роль не совсем благородную, но находил для себя тысячу оправданий.

«Я должен спасти Наташу, – утешал он самого себя, – и я спасу ее во что бы то ни стало! употреблю для этого все средства. К доброй цели можно смело идти путями окольными и не совсем чистыми... Я уже, слава богу, вышел из периода прекраснодушия... Наташа увлечена безумною страстию. Она стоит на краю бездны... но я сзади ее, я сторожу ее движения, я не допущу ее до гибели... Нет! такие фразеры, как этот Григорий Алексеич, теперь не проведут меня!»

Охлаждению Олимпиады Игнатъевны к Григорью Алексеичу невольно способствовал также и Захар Михайлыч, который после переезда их из Сергиевского стал довольно часто посещать их. В голове Олимпиады Игнатъевны блеснула новая, смелая мысль, что, может быть, Захар Михайлыч ездит даром, хотя он, правду сказать, не подавал ей ни малейше-

го повода к этой мысли. Захар Михайлыч, по-видимому, не обращал никакого внимания на Наташу и почти ни слова не говорил с ней. Он все рассуждал с самой Олимпиадой Игнатьевной, и по большей части о делах хозяйственных, а иногда раскладывал вместе с нею гранпасьянс; но предчувствия любящего материнского сердца редко бывают обманчивы. Однажды Захар Михайлыч сказал Олимпиаде Игнатьевне:

– Знаете ли вы, о чем я хочу поговорить с вами? – Угадайте-ка... Бьюсь об заклад, что не угадаете.

– О чем же, батюшка? – спросила Олимпиада Игнатьевна.

– Я – ведь вы меня знаете – человек военный, – продолжал он, – и не люблю никаких предисловий, а режу всегда напрямик... Отдайте-ка за меня вашу дочку, Олимпиада Игнатьевна, право. Она мне очень нравится: девушка милая, скромная... – Захар Михайлыч остановился.

Олимпиада Игнатьевна смотрела на Захара Михайлыча, как будто не веря ушам своим.

– Ну, что же вы на это мне скажете?

– Боже мой! – воскликнула Олимпиада Игнатьевна, зарыдав, – дайте мне немножко прийти в себя... Ах, батюшка мой, Захар Михайлыч... Ах, боже мой, боже мой!.. Я... я никогда и думать не смела о такой чести. Мне этого и во сне то пригрезиться не могло. Да стоит ли того моя Наташа?

– Эх, к чему это говорить, Олимпиада Игнатьевна, – возразил Захар Михайлыч, который не любил пустословья и слезных сцен. – Я вам скажу откровенно, у меня давно в го-

лове мысль: что же, в самом деле, для кого я тружусь, для кого все устраиваю, для кого наживаю деньги? Кто помянет меня за все это? Близких родных у меня нет, а дальняя родня... бог с ней! Я знаю, что они, как вороны крови, ждут моей смерти; да к тому же что я за дурак, чтоб оставить им свое состояние? К тому же мне, признаться, последнее время что-то скучновато стало жить одному. Я человек простой, без затей, а Наташа ваша, кажется мне, предобрая. Поверьте, что она не будет со мною несчастлива... Ну, хотите ли иметь меня своим зятем? отвечайте просто.

– Поверьте, батюшка, – произнесла Олимпиада Игнатьевна голосом, дрожавшим от волнения, и воздев руки горе, – поверьте, что предложение ваше я почитаю не иначе, как неизреченным божеским милосердием к нам. Я не знаю... Я...

– Так, стало быть, вы согласны? – перебил Захар Михайлыч, – это-то я и хотел знать... Ну, так, стало быть, по рукам, любезнейшая Олимпиада Игнатьевна, – так, что ли?

Он протянул ей свою большую и жилистую руку, которую она пожала крепко и с чувством и потом бросилась к нему на шею обнимать и целовать его.

Захар Михайлыч посидел еще после этого немного и потом взял свой картуз.

– У меня есть кое-какие делишки, – сказал он, прощаясь с Олимпиадой Игнатьевной, – прощайте, любезная теща. Мне нужно поспеть домой засветло.

Он уже сделал шаг к порогу и вдруг произнес: «Ба, ба, ба!» – и вернулся, как человек, забывший перчатки или шляпу, или что-нибудь подобное.

– Позвольте-ка, а согласится ли еще ваша Наташа-то быть моею женою? Это я и упустил совсем из виду. Ведь надо узнать ее согласие, иначе нельзя.

– Можете ли вы сомневаться в этом? – вскрикнула Олимпиада Игнатьевна.

Захар Михайлыч несколько призадумался.

– Ну, да ведь бог их знает! молодые девушки не больно жалуют нашу братью, стариков.

– Что это вы говорите такое? Уж будто вы себя стариком почитаете? Как вам не грех!.. Наташа моя девушка благоразумная, и притом покорная дочь.

– То-то, то-то!.. Вы уж, пожалуйста, переговорите с ней обо всем, объясните ей все; я не берусь за это, я не мастер говорить, особенно с девушками.

Когда Захар Михайлыч уехал, Олимпиада Игнатьевна отправилась к себе в спальню. Там у постели ее стоял кивот с наследственными образами в старинных окладах, перед которыми теплилась неугасаемая лампада. Она стала на колени перед этими образами и молилась с чувством, горячо и долго.

Помолившись, она кликнула к себе Наташу.

– Друг мой Наташенька, – произнесла она в волнении, – друг мой милый... – и залилась слезами, прижав ее к груди.

Давно, а может быть и никогда, Олимпиада Игнатъевна не прижимала дочь к своей груди так крепко.

– Господь услышал мои грешные молитвы, – продолжала Олимпиада Игнатъевна, – и награждает тебя через меру за твое послушание, за твою покорность матери. Папенька – то твой, голубчик, не дождался этой минуты. Ну, пусть он хоть оттуда порадуется нашему счастью!

Олимпиада Игнатъевна остановилась и утерла слезы. Наташа с беспокойством смотрела на нее. Но Олимпиада Игнатъевна взяла ее за руку и сказала нежным голосом, указав на диван:

– Сядь сюда, ангел мой... – потом осмотрелась кругом, приперла дверь и, наконец, села возле Наташи. – Я должна поговорить с тобой серьезно. Ты у меня доброе, благоразумное дитя... – и она погладила Наташу по головке. – Ты всегда была моим утешением. Я уверена, что ты примешь так, как следует, то, что я скажу тебе... Захар Михайлыч приезжал к нам сегодня затем, чтобы просить у меня руки твоей. Ты понимаешь, Наташа, как нам должно быть лестно такое предложение. Захар Михайлыч с именем, генерал, богат, пользуется всеобщим уважением, и притом всем известно, что у него доброе сердце. Лучшего мужа тебе нельзя найти. С ним ты будешь счастлива; он не то, что эта молодежь. Он человек солидный, прекрасных правил, отличной нравственности. Что касается до меня, я уже дала ему полное согласие и готова хоть сию минуту благословить вас; но он желал, что-

бы я переговорила с тобою, друг мой.

Олимпиада Игнатъевна, окончив это, посмотрела на Наташу, ожидая ее ответа.

Наташа молчала. Она как будто окаменела от слов маменьки.

– Что же ты скажешь на это? – спросила ее Олимпиада Игнатъевна.

– Да я не знаю его, я никогда не говорила с ним двух слов... – сказала Наташа.

– Так что ж? Наговоришься после, мой друг...

– О нет, маменька! – вскрикнула Наташа. – Я не могу любить этого человека, я не знаю его. Маменька! я должна теперь высказать вам все... Вы не захотите моего несчастья. Вы поймете меня...

Наташа, рыдая, бросилась на грудь к Олимпиаде Игнатъевне и произнесла:

– Я люблю Григорья Алексеича, я никогда не пойду ни за кого на свете, кроме его.

– Так ты решишься выйти замуж без моего благословения и согласия?

– Он также любит меня, – продолжала Наташа, – он хотел говорить с вами... Вы благословите нас?

– С этой минуты нога его не будет на пороге моего дома, – произнесла Олимпиада Игнатъевна решительно, – потому что с этой минуты ты невеста Захара Михайлыча. Понимаешь?..

– Нет, – сказала Наташа еще с большею решительностью и силою, – я никогда не буду его невестою...

Олимпиада Игнатьевна посмотрела на Наташу, как будто желая удостовериться, не помешалась ли она.

– Наташа! Наташа! что это значит! Ты хочешь убить меня?  
Наташа!

– Что же вам угодно от меня? – спросила Наташа, совершенно потерянная.

– Как! и ты еще спрашиваешь, что мне угодно?.. Я хочу, чтобы ты повиновалась мне! я больше ничего не хочу, больше ничего от тебя не требую...

– Маменька, простите меня. Я не могу, это не в моей власти. – Наташа бросилась к ногам матери.

– Прочь от меня, неблагодарная! Ты убила меня! – закричала Олимпиада Игнатьевна, шатаясь...



## Глава XI

Олимпиада Игнатьевна была, точно, убита. Она не выходила целый день из своей спальни и ни с кем не говорила, а только стонала, охала и обращала от времени до времени, качая головой, слезящие очи свои на темные лики божиих угодников, к которым всегда прибегала она и в минуту радости, и в минуту горя. Двадцать лет Олимпиада Игнатьевна постоянно употребляла все средства, все усилия, чтобы искоренить, уничтожить в дочери самостоятельность и волю, чтобы сделать из нее автомата, которого она могла бы приводить в движение только по собственному желанию; в продолжение двадцати лет внушала она ей безусловную покорность, смирение, безответность, благоговение перед старшими и все возможные христианские добродетели; в продолжение двадцати лет она носила в груди своей утешительную мысль, что вполне достигла своей цели и что ее Наташа самая нравственная, самая примерная, самая безответная, нежная и послушная из дочерей, – и вдруг так страшно разувериться во всем этом, и вдруг увидеть тщету своих двадцатилетних усилий!..

Во всю ночь несчастная мать не смыкала глаз и все утро ожидала Захара Михайлыча с мучительным нетерпением. Но когда он приехал, она, затаив в себе свои тяжкие страдания, встретила его с приятной и веселой улыбкой, как буд-

то ни в чем не бывало. Она сказала Захару Михайлычу, что Наташа простудилась и занемогла и не может выходить из своей комнаты, что она ничего еще с ней не говорила, но что в согласии ее нисколько не сомневается, что дело можно считать решенным и что на днях, тотчас как только ей будет немного полегче, она благословит их. Олимпиада Игнатъевна не теряла еще надежды, что Наташа в продолжение нескольких дней или сама образумится и раскается, или изнеможет в бессильной борьбе и принуждена будет покориться. Но, увы! к удивлению Олимпиады Игнатъевны, ни угрозы, ни обмороки, ни проклятия – эти могущественные атрибуты материнской власти, – ничего не действовало. Наташа оставалась непреклонною. И надобно было иметь много любви, много твердости, много самоотвержения, чтобы устоять против всего этого!

Между тем Григорий Алексеич, очень хорошо и подробно знавший обо всем происходившем в селе Брюхатове, впал в бессильное отчаяние. Совершенно растерявшись, он прибегнул наконец к Сергею Александрычу за советами.

– Мой совет, – сказал ему Сергей Александрыч, – поскорей все это чем-нибудь кончить. Это ясно. Если ты ее любишь и хочешь жениться на ней, что, по-моему, очень глупо, – то я готов тебе от души способствовать всеми силами. Мы увезем ее, это будет очень легко, потому что она не станет сопротивляться. Я, разумеется, рассорюсь на время по этому случаю с тетушкой, что меня нисколько не приведет в

отчаяние. Мы тайно обвенчаем вас; после этого, как водится, на вас посыплются проклятия; тетушка запретит производить перед нею ваше имя, а потом мало-помалу смягчится, помирится и благословит... Но если ты еще колеблешься, если ты сомневаешься в своей любви, – я, признаться-таки, давно подозреваю это, – в таком случае отправляйся-ка поскорее в Петербург... Я тоже ни за что не останусь здесь долго и приеду вслед за тобою. Наташа помучится, поплачет, а потом успокоится, покорится своей участи и по необходимости отдаст свою руку и сердце Захару Михайлычу, с которым она, право, будет счастливее, чем с тобою...

Но Григорий Алексеич не удовлетворился этими простыми советами.

«Счастливый человек! Как ты легко обо всем судишь! как ты скоро решаешь все!» – думал он, слушая Сергея Александрыча с иронией, – и продолжал терзаться в бездействии и нерешительности.

Так прошло еще несколько дней. И чего не перенесла в эти дни Наташа! Петруша, на защиту которого она надеялась сначала, этот Петруша, который так горячо обещал некогда воевать за нее со старым поколением, – и он действовал теперь против нее, еще более раздражая и поджигая маменьку. Наконец Олимпиада Игнатьевна, измученная собственными слезами, припадками и обмороками, истощив весь запас материнских средств для убеждения непокорной дочери, выбилась из сил и прибегнула к родственной помощи, как ни

больно было это для ее самолюбия. Родственники, по просьбе ее, съехались к ней на совещание.

После долгих переговоров решено было общими силами усовершенствовать Наташу. Ее призвали. Родственники встретили ее со строгими и печальными лицами. Олимпиада Игнатьевна сидела между ними, прислонясь головою к подушке. Она тяжело дышала и охала и не обратила никакого внимания на вошедшую Наташу. Возле нее находились с одной стороны невестка ее, вдова меньшого брата ее, а с другой – двоюродная сестра ее. Они беспрестанно поправляли ей подушку, смотрели ей в глаза и спрашивали с плачевной гримасой:

– Ну что, как вы себя чувствуете, сестрица? Не хотите ли понюхать уксусу? Не приложить ли вам хрену за уши? – и прочее.

Олимпиада Игнатьевна на все это только качала отрицательно головой и с чувством жала им руки.

– Садитесь, милая, – сказала Наташе одна из тетушек суровым голосом и толкнула к ней стул.

Наташа села.

С минуту длилось молчание, но нельзя было сказать, чтобы в эту минуту пролетел тихий ангел.

Дядюшка Наташи с отцовской стороны, лет пятидесяти пяти, с физиономией благонамеренной и приятной и с брюшком, на котором колыхалась огромная сердоликовая печатка, – первый прервал это молчание... Дядюшка был человек с весом. Он занимался винными откупами и владел

замечательным даром слова.

Дядюшка с важностью раза два откашлялся и потом обратился к племяннице:

– Все глубоко и истинно тронуты... – сказал он, – я говорю не только о родственниках, но и о посторонних, до которых дошли слухи об этом...

Дядюшка любил вставочные предложения.

– ...Все, я говорю, мы глубоко опечалены тем положением, в которое повергнута достойная и всеми по справедливости уважаемая матушка твоя, тем более что причиной этой горести... вернее сказать, отчаяния, – ты, дочь ее, от которой она, конечно, кроме утешения, ничего не могла ожидать более...

Дядюшка приостановился и еще раз откашлялся. Родственники слушали его, как оракула.

– Повиновение родителям, – продолжал он, – есть высочайшая, скажу более, священнейшая обязанность детей. Дети, повинующиеся родителям, угодны богу, и господь всегда награждает их за это. Этому есть неоднократные примеры в истории. К тому же в юных годах, не приобретя опыта, не имея случая ознакомиться, так сказать, с жизнью (что весьма натурально), мы не можем знать собственной пользы, не умеем отличить вредного от полезного и без руководства старших легко впадаем в заблуждения. Но мать нежная, любящая, добродетельная (а сестрица именно такова, я смело скажу ей в глаза и за глаза)...

При этом он указал рукою на Олимпиаду Игнатьевну.

– Такая мать, в неусыпной заботливости о счастье своих детей, стоит, можно сказать, на страже их нравственности. Надобно уметь ценить это, чувствовать, смотреть ей в глаза и не только не противиться ее желаниям, но предупреждать их. Ты всем обязана своей маменьке, без исключения всем; она даровала тебе жизнь, она ухаживала за тобою с колыбели, кормила, поила тебя, внушала тебе нравственные правила, заботилась о твоём здоровье – и чем же (это не я один, это скажут все), как не послушанием, ты должна отблагодарить ее за все это? Никакая мать не может желать дурного своей дочери; согласишься в этом, следовательно, как же можно противиться матери в чем-нибудь, даже в малейших безделицах, – не говорю уже о таких важных предметах, где дело идет о твоей будущей участи? И можешь ли ты в твои лета располагать сама собою? Неужли ты можешь судить умнее и вернее твоей маменьки? Вещь неестественная! Мое мнение таково (уверен, что с этим мнением беспрекословно согласятся все), что ты сейчас же должна раскаяться во всем, почувствовать свое преступление, – а это самое тяжкое преступление – огорчать своих родителей, – просить у маменькиных ног прощения. Этого мало... Маменька простит тебя (я знаю доброту ее, бесконечную любовь к тебе); но ты еще потом должна будешь много и долго молиться о том, чтобы господь внушил тебе кротость и повиновение. Сегодня ты под крылышком маменьки, под ее властью – завтра, может

быть, ты будешь под властью мужа – и точно так же, как теперь маменьке, ты будешь обязана, как добрая жена, во всем беспрекословно повиноваться мужу и угождать ему, быть хорошей хозяйкой, – а потом доброй матерью; за последним примером тебе недалеко ходить...

Дядюшка крикнул и указал рукою на Олимпиаду Игнатьевну.

– Представь же себе, когда у тебя будут дети и если (чего боже сохрани!) они станут не повиноваться тебе, огорчать тебя. Каково будет тебе? Размысли обо всем этом хорошенько, дельно и... Но я уже сказал, что тебе остается теперь делать.

Все родственники были тронуты этою речью, а Ардальон Игнатьич, присутствовавший тут же, прослезился. И потом все они, не выключая и Олимпиады Игнатьевны, обратились к Наташе, желая узнать, какое впечатление произвела на нее эта трогательная и поучительная речь.

Но на болезненном лице Наташи невозможно было ничего прочесть.

– Что же вы на это скажете? – спросила ее одна из родственниц, переглянувшись с Олимпиадой Игнатьевной. – Извольте говорить.

Наташа молчала.

Родственница повторила ей свой вопрос.

– Я не могу любить человека, которого не знаю, – произнесла Наташа тихим голосом, – а обманывать я не умею...

Бог видит, я не хотела бы огорчать маменьку, но...

– Боже мой, господи! до чего я, несчастная, дожила! – простонала Олимпиада Игнатьевна. – Лучше бы господь прибрал меня. Ох, как тяжело мне!

– Полноте, полноте, голубушка, не гневите бога, – сквозь слезы и в один голос произнесли две родственницы, сидевшие возле нее.

– Наталья Николавна! сжальтесь над вашей матерью! – продолжала одна из них, обращаясь к Наташе, – посмотрите на нее, что вы, в самом деле, убить ее, что ли, хотите? Побойтесь бога...

– Маменька! я умоляю вас всеми святыми, не принуждайте меня, – сказала Наташа, бросаясь к ногам матери. – Мое решение твердо. Я люблю Григорья Алексеича. Я вам сказала, что я люблю его; если вы не захотите благословить нас, я покорюсь вашей воле, я останусь с вами, я не оставлю вас, но я ни за кого на свете не выйду замуж, ни за кого!

– Мне не нужно непокорной дочери, – сказала Олимпиада Игнатьевна, – я отрекаюсь от тебя заранее при всех родных. Вот все свидетели. Прахом родителей моих клянусь тебе, что я отрекаюсь от тебя, если ты не исполнишь моей воли...

– И ты еще после этих слов будешь сметь противиться священной для тебя воле? – произнес строго дядюшка-откупщик, – и твое сердце не смягчится воплем матери, которая носила тебя под сердцем? И ты еще осмеливаешься повторить, что ты любишь не того, кого избрала тебе мать?



Наташа молчала.

Все родственники, исключая доброго и безмолвного Ардальона Игнатъича, с ужасом взглянули на Наташу и потом, посмотрев друг на друга, пожали плечами, как будто хотели сказать:

«Ну, это уж пропащая девушка!»

– Если так – с этой минуты у меня нет более дочери! – прошептала Олимпиада Игнатъевна умирающим голосом, – уведите ее от меня, друзья мои, – это последняя моя к вам просьба, скажите ей, чтобы она никогда не смела показываться мне на глаза. Я ее не могу видеть.

Наташа встала и хотела идти, но не могла. Она пошатнулась. Ардальон Игнатъич поддержал ее.

– Наташенька, друг мой, – сказал он, всхлипывая, – прошу тебя, покорись маменькиной воле. Не доводи себя до греха. Мне очень жалко тебя.

Но Наташа уже ничего не могла отвечать ему на это. Она лежала без чувств на руках его. Ее вынесли из комнаты.

Когда она пришла в себя, родственники попытались еще раз убеждать ее, но все было напрасно. Делать было нечего. Они разъехались и быстро разнесли вести о Наташе по всей губернии. Вся губерния приняла глубокое, искреннее участие в положении Олимпиады Игнатъевны, и все (в особенности маменьки) дивились, как могла Захару Михайлычу, на старости лет, прийти нелепая мысль просить руки безнравственной, наглой девчонки, которая почти перед его глаза-

ми амурилась не только с Григорьем Алексеичем, но даже и с своим двоюродным братом! Слухи о безнравственности Наташи заставили даже поручика Брыкалова в пьяном виде дня три сряду прохаживаться мимо окна ее. «А черт ее знает: может быть, я и приглянусь ей», – думал он... И при этой мысли поручик Брыкалов прищелкивал языком. Но сильнее всех действовала против Наташи Агафья Васильевна. Она не удовлетворилась клеветами и сплетнями, которые распускала на ее счет, и послала безыменное письмо к Захару Михайлычу, начинавшееся так:

«Некто, особа, принимающая в вас горячее участие, считает долгом христианским предостеречь вас, ибо девушка, за которую вы сватаетесь, самого дурного поведения, что достоверно известно особе, пишущей сии строки, и она находится в связи с Григорьем Алексеичем Л\*\* поныне...» и прочее и прочее.

– Уж не бывать ей генеральшей, не бывать, – повторяла Агафья Васильевна, – уж я не допущу до этого! Нет! как своих ушей не видать ей генеральства! Вишь, на какую высоту хочет взобраться. Но уж я втопчу ее в грязь, достигну своей цели!

## Глава XII

Страшная, тяжелая тишина, предрекавшая новые бури, водворилась во всем доме после родственного совещания. До Наташи только по временам долетали стоны, ее несчастной матери. Ни к обеду, ни к чаю, ни к ужину никто не сходил. В продолжение нескольких дней обедал только один Петруша, да и то в своей комнате. Два дня Наташа была в каком-то оцепенении и только на третий день, к вечеру, написала Григорью Алексеичу:

«Вы были правы... Я обманывала себя. Мне хотелось уверить себя, что маменька любит меня не для себя только, – но теперь я все вижу ясно... Сколько времени я вас не видала... и как страшно тянется для меня время, если бы вы знали! Часы мне кажутся днями, дни – месяцами... Вы, я думаю, знаете все, что у нас происходит... Я вот уже третий день как одна, совершенно одна. Для меня теперь все кончено. Маменька и все родные отrekliсь от меня. У меня не осталось никого... Я не могу долее оставаться здесь... Если бы не мысль, что вы любите меня, – с этой мыслью я готова переносить еще больше, – я не знаю, что было бы со мной! Спасите же меня. Моя участь в ваших руках... Ваша

Н.

Р. S. Поскорей отвечайте мне на это. Ответ ваш пришлите сюда с надежным человеком и велите отдать его Лизавете,

дочери нашей ключницы. Я в ней уверена. Иначе письмо ваше могут перехватить».

Письмо это через два часа было уже в руках Григорья Алексеича...

Сергей Александрыч, несколько утомленный, в приятной неге лежал перед камином в своем кабинете в ту минуту, когда Григорий Алексеич вошел к нему, бледный как смерть, сжимая в руках письмо Наташи.

– Прочти это, – сказал Григорий Алексеич, отдавая ему письмо.

– Bravo! – произнес Сергей Александрыч, прочитав его. – Ай да Наташа! Я не ожидал от нее такой храбрости! Какова! Ну что ж? Похищать так похищать! я к твоим услугам. Вот наделаем мы суматоху в губернии-то!

– Умоляю, оставь свои шутки: они не у места. Дело идет об участи человека, о его будущности. Это игра на жизнь и смерть!

Григорий Алексеич схватил себя за голову и начал прохаживаться по комнате.

– Тебе легко так судить, – говорил он, останавливаясь перед Сергеем Александрычем, – но если бы ты был на моем месте!

– Я не желаю быть на твоём месте, – возразил Сергей Александрыч.

– То-то и есть! Если бы ты мог представить себе, что я перестрадал, перечувствовал в эти дни...

– И какой же результат всего этого? – возразил Сергей Александрович, – подвинулся ли ты хотя на один шаг к решению гамлетовского вопроса: «Быть или не быть?» – жениться или нет? Теперь уж колебаться поздно... Решайся на что-нибудь.

– Решаться! – повторил Григорий Алексеич мрачно. – Выслушай меня... Еще за несколько минут перед этим письмом я сомневался в самом себе, колебался, не знал, что мне делать... Это письмо решило наконец все; оно показало мне самого меня в настоящем свете... Я не могу любить глубоко, с самоотвержением. Нет, не могу, я вижу это. Моя любовь в голове, в мечте, а не в сердце, не в действительности. Я принимал экзальтацию за истинное чувство, точно так, как мальчишка, как какой-нибудь Петруша, например, принимает «раздражение своей пленной мысли» за поэзию! Человек, истинно любящий, прочитал бы это письмо с восторгом, он не задумался бы над ним ни одной секунды, а я... Меня бросило в лихорадку от этого письма, как презренного труса. Когда действительность схватывает меня за руку и требует решительного ответа, я отступаю от нее с ужасом, брак кажется мне страшнее смерти. Она с полной доверенностью бросается ко мне, ищет во мне своего спасения, а я скрываюсь от нее, я бегу от нее, я оставляю ее на терзанье палачам. Я ничего не могу для нее! Я довожу ее до последней крайности и тут только в первый раз сознаю свое жалкое бессилие, свое ничтожество сравнительно с нею. Чем же я лучше

своего благодетеля, этого Ивана Федорыча, перед которым я так гордился, считая себя вполне человеком!.. Все это может свести с ума! Я навсегда отравил собственную жизнь, – куда бы я ни скрылся теперь, как бы далеко ни убежал отсюда, эта девушка будет преследовать меня повсюду, – и куда я убегу от самого себя? куда? Если бы я мог думать, что сделаю ее счастливой, – тогда другое дело!.. Я не задумался бы о самом себе... Но я никогда не буду в состоянии так любить, как она меня любит! Нет, что ни говори, наши женщины несравненно выше нас. Мы не стоим их, решительно не стоим. Мы все эгоисты, рефлектёры... Мы ни на что не способны, никуда не годны! Все поколение наше заклеено печатью отвержения, – дряблкое поколение! Все мы изнемогли под ношею сомнений и отрицаний! Мы окружены со всех сторон развалинами и остановились в бездействии и недоумении среди этих развалин – и не в силах очистить себе дороги, чтобы идти вперед, а только вопим и стонем, взывая с чужого голоса к будущему, которого недостойны. Глубокие чувства и сильные страсти не по плечу нам, хотя мы беспрестанно толкуем об них. Наш век – это век великих маленьких людей. Все мы поднимаемся на ходули и тарачимся изо всей мочи, чтобы казаться выше, ни в ком из нас нет ничего истинного... И страдания-то наши бесплодны, потому что они поддельны! Все мы учились чему-нибудь и как-нибудь, кое-чего понахватали из европейских журналов и вообразили себя учеными и философами! Все мы сочувствуем современным

интересам Европы, а не имеем никакого понятия о том, что делается под нашим носом, перед нашими глазами! Но лучшая и злейшая пародия на всех нас, наша карикатура – это Петруша. Если уж говорить правду, так ведь все мы несколько походим на Петрушу!

Григорий Алексеич встал и начал снова тревожно прохаживаться по комнате.

– Что ж, ты отправляешься в Петербург? – спросил его Сергей Александрыч.

– Да – и сейчас же. Я не должен и не могу оставаться здесь долее...

Григорий Алексеич подошел к Сергею Александрычу и крепко сжал его руку.

– Мы увидимся в Петербурге... Скажи, ты ничего не имеешь против меня? успокой меня... Будь со мной откровенен... Поступок мой не так еще гадок, как кажется с первого взгляда. Рассуди. Я люблю Наташу, но не настолько, насколько она достойна быть любимой. И такая ли любовь нужна ей? А обманывать ее – преступление! Не правда ли? Объясни же ей все, не оправдывай меня, но объясни ей все, как есть!.. Я тебя прошу, этой услуги с твоей стороны я никогда не забуду. Соглашаешься ли ты с тем, что мне не останется ничего более, как бежать отсюда?

– Совершенно, – отвечал Сергей Александрыч, – ты поступаешь как нельзя более благоразумно. Я тебе беспрестанно повторял и теперь повторяю еще, что ты сделал бы ве-

личайшую глупость, женившись на Наташе. Хоть мне жаль, что ты уезжаешь, но делать нечего, тебе неловко оставаться здесь, я понимаю... Поезжай с богом...

– Как бы мне хотелось видеть ее в последний раз, высказать ей всё...

– Зачем? это вздор! – перебил Сергей Александрыч, – это свидание было бы для вас обоих неловко.

– Что будет с нею? что будет с нею? – восклицал Григорий Алексеич.

– Будь покоен... время, милый друг, изглаживает все и примиряет со всем...

– Дай бог, чтобы это было так! – произнес Григорий Алексеич трагически.

В этот же вечер он написал Наташе следующее:

«Я тысячу раз перечитал ваше письмо, я его буду перечитывать всю жизнь мою. Это письмо моя нравственная казнь. Вы отдаетесь мне с такою бесконечною любовью, с такою неограниченною доверенностию, мне!.. Но я недостоин вашей любви, я недостоин вашей доверенности. Оттого-то я и бегу отсюда, бегу от вас, как преступник, – и в ту минуту, когда вы ищете спасенья во мне! Сергей Александрыч объяснит вам все. Я погибаю под тяжким бременем собственного бессилия, я знаю, что впереди ожидают меня безвыходные страдания, но, во всяком случае, лучше страдать и терзаться одному. Нет! никогда я не мог бы удовлетворить вашей высокой любви: я обманывал вас, я обманывал самого себя, я



еще верил в возможность для себя счастья!.. О, не проклинайте меня, бога ради, не проклинайте... Я высказываю вам все, я не щажу самого себя, я не оправдываюсь перед вами... Вы говорите, что ваша участь в руках моих, – но я не могу, я не смею, я не должен располагать ею. Кроме горя и страданий, я ничего бы не принес вам!.. Через, два дня меня не будет здесь. Я сам не знаю, куда бегу; мне все равно, куда ни перенести мою постылую жизнь; только я не могу оставаться здесь, в этих местах, где мне суждено было испытать, столько отрадных, столько святых минут. Эти минуты никогда не изгладятся из памяти моего растерзанного сердца. Прощайте – и забудьте меня. Это последнее к вам слово.

Г. Л.».

Агафья Васильевна ошиблась в расчете. Она не знала Захара Михайлыча. Безымянное письмо ее произвело на него совершенно не то действие, какое она ожидала. Сплетни, распускаемые по губернии о Наташе, не доходили до Захара Михайлыча, потому что все губернские сплетники страшно боялись его. Один из таких, вскоре после приезда его в деревню, явился было к нему с различными наветами насчет их общего соседа. Захар Михайлыч выслушал сплетника очень спокойно.

– Ну что ж, братец, – сказал он, – и ты все это, что мне наболтал тут, перескажешь ему самому в глаза, при мне? а?

Сплетник смешался несколько.

– Почему же, – отвечал он, – извольте... я... я готов...

– Врешь, братец, не перескажешь, – возразил ему Захар Михайлыч, – уж я вижу по глазам твоим, что не перескажешь. А вот я так тебе скажу в глаза, что если ты ко мне еще когда-нибудь подъедешь с такими балясами, на чей бы счет ни было, то уж тогда прошу извинить, – я, братец, тогда тебя на порог своего дома не пущу.

Человеку такого характера, каков был у Захара Михайлыча, разумеется, особенно не могли нравиться безыменные письма. Прочитав письмо Агафьи Васильевны, очень ловко и скрытно доставленное к нему, он покачал головою, внимательно осмотрел его со всех сторон и положил в свой огромный кожаный бумажник.

– Дорого бы я дал, – сказал он самому себе, потирая руки, – чтобы узнать сочинителя этого письмеца! Надавал бы я ему, голубчику, публично оплеух. Не пиши вперед этаких писем! Не смей марать репутацию честной девушки. Вот тебе, братец, за это... вот тебе!

Однако письмо это навело Захара Михайлыча на мысль, которая без того, конечно, никогда не могла бы прийти ему в голову.

«А что, если Наташа, – подумал он, – точно, любит этого Григория Алексеича? Ведь не мудрено... Он, кажется, малый-то хороший... Что, если я тут подвернулся для того только, чтобы помешать ихнему счастью? Может, он еще прежде меня хотел сделать предложение, да не решался?.. Все это может быть».

Захар Михайлыч свистнул.

– Эй, Прошка!

Прошка вдруг выскочил как будто из-под пола, в серой куртке, с волосами, обстриженными под гребенку, руки по швам.

– Чего изволите-с?

– Чтобы через десять минут стоял у подъезда тарантас: Красавчик в корню, алексеевская и бурая на пристяжке. Слышишь?

– Слушаю, ваше превосходительство.

И Прошка повернулся налево кругом.

Через два с половиною часа Захар Михайлыч уже разговаривал с Олимпиадой Игнатьевной.

– Нет, Олимпиада Игнатьевна, – говорил он, – вы действуйте со мною откровенно, я прошу вас. Если ваша Наташа не согласна идти за меня, если она, например, любит кого –нибудь другого, так вы мне это скажите напрямки, без церемоний, я предложение мое возьму назад, а мы все-таки останемся с вами по-прежнему добрыми соседями и друзьями. Вы не принуждайте ее: согласна она будет выйти за меня – очень рад, не согласна – что делать...

Но почти в то самое время, как Захар Михайлыч говорил это Олимпиаде Игнатьевне, Лизавета, дочь ключницы, подала Наташе письмо от Григорья Алексеича.

Замирая, дрожащей рукой схватила Наташа это письмо и быстро пробежала.

На лице ее выступили красные пятна, в глазах запыргали огоньки, но она переломила себя, разорвала письмо на мелкие части и опустила на стул. Более часа просидела она неподвижно, потом встала и пошла к матери.

– Маменька! – сказала она, – простите меня; я виновата перед вами. Я покоряюсь вашей воле, – объявите Захару Михайлычу, что я согласна быть его женою.

Она даже и не заметила, что Захар Михайлыч был тут, в комнате...

Прошло десять лет. Говорят, Наталья Николаевна счастлива. Муж ее обожает. У нее сын и дочь – прекрасные дети, в которых она души не чает. Она целый день занята или детьми, или хозяйством, и надо отдать ей честь – хозяйство идет у нее отлично.

О прошлом она вспоминать, кажется, не любит, иногда впадает в тревожное состояние, как будто в ее довольстве ей еще недостает чего-то. Она похудела и постарела немножко. Сыну своему она дает совершенно практическое направление...

Вот как хорошо повиноваться родителям и слушать родственников!